МАРИЯ ШЕФЕР



СЕРДЦЕ НЕ ПРОСИТ

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА · КНИГА 4

Мария Шефер

Сердце не просит

«Автор»
2026

Шефер М.

Сердце не просит / М. Шефер — «Автор», 2026

- У Марка нет сестры.Мне двадцать шесть. Я строю пешеходные мосты в Лондоне и никогда ни у кого ничего не прошу. После оглашения отцовского завещания я узнала, что у меня есть брат. Ему четырнадцать. Отец четырнадцать лет приезжал к нему по последним субботам месяца и ни разу не сказал о нём ни слова.Я сдала билет в Лондон и поехала на электричке в Сергиев Посад. Мне не нужна доля брата. Мне вообще ничего не надо. Я просто хочу с ним познакомиться.Когда она говорит "мне ничего не надо", голос у неё садится на четверть тона. Я настройщик. Я слышу, когда фальшивят рояли и люди. Я растил Марка с рождения и знаю, зачем Ледовские приходят в чужие дома. Забирать.Только у меня в сарае, за банками с клеем, двадцать шесть лет стоит жестяная коробка из-под леденцов. В ней то, что принадлежит ей. Мне было шесть, когда на моих глазах умерла её мать. Света этого не знает.Сердце не просит. Но ему придётся научиться.

© Шефер М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА 1. МНЕ НИЧЕГО НЕ НАДО 6
ГЛАВА 2. ЛЯ ПЕРВОЙ ОКТАВЫ 14
ГЛАВА 3. ЖЁЛТЫЙ ДОМ 19
ГЛАВА 4. ВОСКРЕСЕНЬЕ 26
ГЛАВА 5. ХАРРИНГТОН 32
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 39
ГЛАВА 7. МАСТЕРСКАЯ 45
ГЛАВА 8. ПОД ПИАНИНО 51
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Мария Шефер
Сердце не просит

МАРИЯ ШЕФЕР
СЕРДЦЕ НЕ ПРОСИТ
Серия "Золотая клетка". Книга 4

ГЛАВА 1. МНЕ НИЧЕГО НЕ НАДО

Света

Из рабочей тетради архитектора С. Ледовской: "Пешеходный мост через овраг, пролёт 34 м. Главная ошибка - думать, что мост держится на опорах. Мост держится на том, что его тянут с двух сторон".

Он сбросил четыре раза.

После второго я перестала считать это случайностью. После третьего - вежливостью. После четвёртого я села на пол в пустой гостиной отцовского дома, на светлый прямоугольник на паркете, где когда-то стоял мамин рояль, и засмеялась. Вслух. Одна. В десять вечера.

Ледовские, подумала я. Дураки. Все. Теперь, видимо, и я.

Дом молчал. Серёжа ещё не переехал, Оля сказала, что сначала надо всё перебрать, вынести, покрасить, иначе тут невозможно жить, тут каждый угол смотрит. Она права. Тут каждый угол смотрит. Я выросла в этом доме и ни разу в нём не жила. Я в нём пряталась. В шкафах, на чердаке, в оранжерее за кадками с лимонами. В девятнадцать лет - у Оли на кухне, потому что там никто не говорил "Светлана, иди спать". А потом я уехала в Лондон и стала прятаться там. Это проще. Там тебя никто не знает, поэтому никто и не ищет.

Я написала ему сообщение. Длинное. Стёрла. Написала короче. Стёрла. Написала: "Матвей Романович, я не прошу ничего. Я хочу его увидеть. Один раз". Посмотрела на "не прошу". Стёрла "не прошу". Оставила: "Я хочу его увидеть. Один раз. Светлана".

Отправила.

Через минуту пришло: "Нет".

Без точки. Без подписи. Две буквы.

Я положила телефон на паркет экраном вниз и легла рядом. На спину. Потолок в гостиной высокий, с лепниной, с крюком посередине, на котором когда-то висела люстра. Люстру сняли. Крюк остался.

В сумке, у моей головы, лежал конверт. Папин. Я знала его наизусть с первого раза.

"Будь ему тем, кем никто не был тебе".

Папа, подумала я. Ты всю жизнь не замечал, что я существую. А теперь, когда тебя нет, ты мне пишешь письма. И просишь. Ты просишь, а мне за тебя отдуваться.

Я полежала так ещё минут десять. Потом встала, нашла в сумке ежедневник и записала на завтра одну строчку: "Шубин. Адрес".

Я не прошу. Я записываю. Это разные вещи.

* * *

Лев Матвеевич Шубин принял меня в девять утра в своей конторе на Чистых прудах. Он выглядел так, будто не уходил отсюда со вчерашнего дня. Может быть, и не уходил. Он сидел за своим министерским столом под портретом прадеда в бакенбардах и смотрел на меня поверх очков.

- Светлана Викторовна, - сказал он. - Вы звонили ему.

- Звонила.

- И он сбросил.

- Четыре раза. А потом написал "нет".

Шубин кивнул, как будто я сообщила ему прогноз погоды, который он и так знал.

- Матвей Романович Ланской, - сказал он. - Тридцать два года. Мастер по настройке и реставрации фортепиано. Учился у Михеева. Михеев говорит, что руки у него лучше, чем были у самого Михеева в его годы. Живёт с сестрой и племянником в Сергиевом Посаде. Мастерская при доме. Характер... - Шубин помолчал, подбирая слово. Он всегда подбирает слова так, будто платит за каждое из своего кармана. - Сложный.

- Насколько сложный?

- Ваш отец однажды предложил ему деньги. На мастерскую. На станки, на помещение в Москве. Матвей Романович вернул конверт по почте. Заказным. С уведомлением о вручении. Уведомление пришло ко мне. Я его храню.

Я засмеялась. Шубин не засмеялся, но у него дрогнули усы.

- Мне нужен адрес, - сказала я.

- Он вас не пустит.

- Мне нужен адрес, Лев Матвеевич. Я не прошу, чтобы он меня пустил. Я хочу знать, куда ехать.

Шубин долго смотрел на меня. Потом снял очки. Протёр. Надел. Взял со стола листок и написал на нём от руки, ровно, с наклоном вправо, адрес. Подвинул ко мне.

- Ваш отец, - сказал он, - тоже никогда ничего не просил. Он говорил "мне нужно". Или "это не обсуждается". Вы на него похожи больше, чем думаете, Светлана Викторовна.

- Я на него совсем не похожа.

- Конечно, - согласился Шубин. - Совсем не похожи. Электричка с Ярославского вокзала, сорок две минуты на экспрессе. Гриша вас отвезёт, если...

- Я на электричке.

Шубин посмотрел на мои ботинки. Тяжёлые, рыжие, на толстой подошве. На мою юбку. Зелёную, до щиколоток. На пальто, которое я купила в Лондоне на распродаже в "Либерти" и которое всем в Москве кажется слишком лёгким для марта.

- Конечно, - сказал он ещё раз. - На электричке.

* * *

Я ехала на электричке в первый раз с двенадцати лет.

В двенадцать я сбежала из дома, доехала на электричке до Пушкино, просидела на станции четыре часа, съела три пирожка с капустой и поехала обратно. Меня никто не искал. Няня думала, что я у подруги. Папа был в Китае. Серёжа в Лондоне, Олег в институте, Паша в своём корпусе. Я вернулась в восемь вечера, открыла дверь своим ключом и пошла спать. Никто не спросил, где я была. Я лежала в кровати и думала: вот. Вот так это и устроено. Если ты не просишь, тебя никто не ищет. Если тебя никто не ищет, тебе никто не откажет.

С тех пор я не просила. Мне так было удобнее.

Электричка шла через мартовский лес. Снег в лесу был серый, ноздреватый, а по краям полей уже стояла вода. Напротив меня сидела бабушка с рассадой в пятилитровой банке из-под огурцов. Она смотрела на мои ботинки с тем же выражением, что и Шубин.

- Из-за границы? - спросила она.

- Из Лондона.

- А к нам зачем?

Я подумала.

- К брату, - сказала я.

Бабушка кивнула. Как будто это всё объясняло.

- Брат-то знает?

- Брат знает, - сказала я. - Его дядя не хочет.

- А, - сказала бабушка. - Ну, дядя. Дядю обойдёшь.

Она подвинула банку с рассадой, чтобы она не упала на повороте, и до самого Посада рассказывала мне, как её зять семь лет не пускал её к внукам, а потом сломал ногу, и кто ему таскал бульон, кто, ты думаешь, таскал? Я слушала. Мне было хорошо. Я давно ни с кем так не ехала.

* * *

Сергиев Посад встретил меня куполами. Синими, с золотыми звёздами, над крышами, над талым снегом, над площадью с автобусами. Я постояла у вокзала, задрав голову. В Лондоне таких нет. В Лондоне всё серое и стеклянное, и если что-то сияет, то это банк.

Адрес был недалеко. Двадцать минут пешком. Улица с деревянными домами, кривыми заборами и сугробами, которые оседали прямо на глазах. Дом был старый, двухэтажный, с первым этажом из красного кирпича и вторым деревянным, тёмным, с резными наличниками. Во дворе за домом стоял каменный сарай. Над дверью сарая висела фанерная табличка, написанная от руки чёрной краской:

"НАСТРОЙКА И РЕСТАВРАЦИЯ ФОРТЕПИАНО. СТУЧАТЬ ГРОМКО".

Я остановилась у калитки.

Из сарая доносился звук. Одна нота. Высокая, чистая. Потом снова. Потом чуть-чуть ниже. Потом снова. Как будто кто-то очень терпеливо спрашивал одно и то же и ждал, пока ответ станет правильным.

Я открыла калитку. Пошла по двору. Под ногами хлюпало. Подошла к двери сарая. Подняла руку, чтобы постучать.

Нота оборвалась.

- Открыто, - сказал голос изнутри. Низкий. Усталый. Недовольный. Тот самый. - Только дверь закрывайте. Сквозняк.

Я вошла.

Внутри было тепло и полутемно. Пахло деревом, лаком и ещё чем-то сладковатым, смолистым, я потом узнала, что это канифоль. Под потолком горели две лампы на шнурах. Вдоль стен стояли инструменты. Не гитары, не скрипки. Пианино. Пять или шесть, в разной степени раздетости: у одного не было крышки, у другого передней стенки, и было видно, как внутри, рядами, натянуты струны и стоят деревянные молоточки в войлочных шапочках, как солдаты в ушанках. В углу, на козлах, лежал рояль без ножек, на боку, как кит, выброшенный на берег.

А посередине, спиной ко мне, у старого пианино с открытым нутром, стоял человек.

Высокий. Худой. В клетчатой фланелевой рубашке с закатанными рукавами и в длинном рабочем фартуке. Тёмные волосы до воротника. В одной руке у него был какой-то металлический ключ с деревянной ручкой. Другая лежала на клавише.

Он не обернулся.

- Ледовская, - сказал он. Не спросил. - Я по голосу понял.

- Я ещё ничего не сказала.

- Вы сказали "ой", когда поскользнулись у калитки. Этого хватило.

Я не помнила, чтобы говорила "ой". Наверное, сказала.

- Матвей Романович, - сказала я.

- Я написал вам "нет".

- Я прочитала.

- Тогда зачем вы здесь?

- Потому что "нет" - это не ответ. Это отказ. Я хочу ответ.

Он повернулся.

Лицо у него было худое, небритое, с острыми скулами и с глазами, которые смотрели на меня так, будто я была расстроенным инструментом, который принесли без предупреждения и требуют починить к утру. Тёмные глаза. Очень злые. На шее на шнурке висели очки. Руки были в мелких порезах, как будто его поцарапала кошка, много раз.

- Ответ, - повторил он. - Хорошо. Ответ такой. У Марка есть мать. У Марка есть я. У Марка нет сестры. У Марка был отец, который четырнадцать лет приезжал к нам по последним субботам месяца, садился на кухне на табуретку у окна и смотрел, как Марк делает уроки. Два часа. Молча. Потом вставал, говорил "спасибо" и уезжал на своей чёрной машине с водителем. Мы насмотрелись на Ледовских. Хватит. Вот ответ.

Я стояла у двери и смотрела на него.

Мне хотелось сказать много чего. Что я тоже насмотрелась на этого человека. Что он и у нас дома сидел точно так же, только не по субботам, а всегда. Что я росла в доме, где отец проходил мимо меня в коридоре, как мимо вешалки. Что он меня тоже не видел. Что мы с Марком, может быть, единственные двое в мире, кто знает, как это - когда отец есть, а его нет.

Я ничего этого не сказала.

- Мне ничего не надо, - сказала я. - Мне не нужна ваша сестра. Мне не нужна ваша мастерская. Мне не нужны его деньги, его доля, что там ещё. Я хочу с ним познакомиться. Всё.

Он смотрел на меня. Долго. Потом чуть наклонил голову. Так, как наклоняют голову, когда прислушиваются.

- Вот, - сказал он.

- Что "вот"?

- Голос сел. На "мне ничего не надо". На четверть тона. - Он отвернулся к пианино. Положил ключ на какой-то колышек в глубине, чуть повернул. Нажал клавишу. Нота. - Когда люди врут, голос садится. Не на полтона, это слишком грубо, это любой услышит. На четверть. Это слышно только тем, кто тридцать лет слушает, как садятся струны.

- Я не вру.

- Конечно, - сказал он, совсем как Шубин. - Вы не врёте. Вам ничего не надо. Вы приехали из Лондона на электричке в этих ботинках, потому что вам ничего не надо.

Нота. Ещё нота. Он слушал её, склонив голову, а меня как будто здесь не было.

Я стояла и чувствовала, как у меня горят уши. Мне двадцать шесть лет. Я работаю в одном из лучших бюро Лондона. Я разговаривала с лордом, который заказывал нам мост через Темзу. Я разговаривала с королевским советником по архитектуре. Меня никто никогда не разбирал вот так, как пианино, по нотам, не глядя.

- Где он? - спросила я.

- В школе.

- Когда он придёт?

- Не ваше дело.

- В два, - сказал голос у меня за спиной. - Он приходит в два. А сегодня в два ноль пять, потому что автобус. Привет.

Я обернулась.

* * *

Он стоял в дверях. Высокий, худой, светлый, с рюкзаком на одном плече. Школьный пиджак ему был мал в рукавах, из них торчали запястья, тонкие, мальчишеские. Шапки на нём не было. Уши красные от холода.

Глаза светлые. Серые. Почти прозрачные.

Я видела эти глаза позавчера, у Шубина. И я видела их всю жизнь. У папы. У Паши. Это наши глаза. Ледовские. У меня таких нет, у меня мамины, тёмные. Я всегда завидовала.

Марк стоял в дверях и смотрел на меня. Не мигая. Я видела, как он посмотрел налево, направо, на окно под потолком, на заднюю дверь в углу. Быстро, по кругу. Я знаю этот взгляд. Я выросла рядом с ним. Паша так смотрит. Паша считает выходы.

- Вы та, - сказал Марк. - У Шубина. Вы одна не встали, когда мы вошли.

- Я не встала, потому что у меня ноги не держали, - сказала я.

- А, - сказал Марк. Подумал. - Я так и понял.

- Марк, - сказал Матвей у меня за спиной. Голос у него стал другой. Не злой. Предупреждающий. - Иди в дом. Обед на плите.

- Я не хочу обедать. - Марк не сводил с меня глаз. - Она приехала ко мне?

- Она уезжает.

- Я не уезжаю, - сказала я.

- Уезжаете, - сказал Матвей.

- Матюш, - сказал Марк. Очень спокойно. Как говорят взрослые с капризными детьми. - Она приехала ко мне. Из Лондона. На электричке. Посмотри на её ботинки.

Матвей посмотрел на мои ботинки. Я тоже посмотрела. Они были до щиколотки в талой грязи. И юбка тоже.

- Я видел ботинки, - сказал Матвей.

- Ну вот, - сказал Марк. И повернулся ко мне. - Пойдёмте в дом. Я вам покажу. У нас пианино. Два. Одно папино, а другое...

Он замолчал. Посмотрел на дядю.

- Другое старое, - сказал он. - Пойдёмте.

Он развернулся и пошёл через двор к дому. Не оглядываясь. Я посмотрела на Матвея.

Он стоял у раскрытого пианино с ключом в руке. Лицо у него было такое, как будто кто-то нажал не ту клавишу в тишине.

- Пять минут, - сказал он. - И вы уходите.

- Мне ничего не надо, - сказала я.

- Голос, - сказал он и отвернулся.

* * *

Дом внутри был тёплый, тесный и весь в нотах. Ноты лежали стопками на подоконниках, на шкафу, на табуретках. На стене в прихожей висел календарь музыкальной школы. В большой комнате у одной стены стоял новый блестящий чёрный "Петроф", а у другой, напротив, старое пианино. Тёмное, почти чёрное, с потёртыми углами и бронзовыми подсвечниками. Над клавиатурой золотыми буквами с завитками было написано: "Шрёдер. С.-Петербург".

- Это папино, - сказал Марк и тронул "Петроф". - Он купил, когда мне было восемь. Привёз сам. Грузчиков привёл, а сам стоял в дверях и смотрел, как заносят. Матюша сказал, что за такие деньги можно было купить машину. Папа сказал: "Машину можно купить за любые деньги". Я не понял, что это значит. До сих пор не понимаю.

Я тоже не поняла. Это было очень похоже на папу.

- А это? - спросила я и посмотрела на "Шрёдер".

- Это мамино, - сказал Марк. - То есть не мамино. Маминой учительницы. Мама на нём училась. А потом я. Матюша его сам восстановил. Три года. Тут внутри всё новое, кроме деки. Дека старая. Он говорит, что дека - это душа, её не меняют.

Я подошла ближе.

На пианино, на крышке, стояли фотографии в рамках. Марк маленький, с огромным бантом на школьной линейке, рядом высокая светловолосая женщина и худой парень лет двадцати, оба серьёзные. Марк постарше за "Петрофом", в концертной рубашке. Пожилая пара на скамейке, незнакомая.

И одна, в углу, в старой деревянной рамке. Выцветшая. Летняя. Открытая веранда, деревянные перила, за ними зелень, сосны, солнце. На веранде в плетёном кресле сидела женщина. Молодая. С тёмными волосами, заколотыми как попало. В лёгком платье в мелкий цветочек. Она смеялась, запрокинув голову, и держала на руках младенца в белом чепчике. Младенец тянул ручку к её лицу.

Я перестала дышать.

Я знаю это лицо. Я видела его одиннадцать тысяч раз. В кабинете у папы, на стене, напротив стола. Единственная фотография, которая осталась в доме. Портрет, строгий, в синем платье, в студии, с прямой спиной. Мама на нём не улыбается. Мама на нём смотрит в объектив так, как будто её попросили потерпеть ещё минуту.

Здесь она смеялась.

Я никогда не видела, как она смеётся.

- Кто это? - спросила я. Голос был чужой.

Марк посмотрел на фотографию. Потом на меня.

- Это учительница, - сказал он. - Маминой. Татьяна Михайловна. Чьё пианино. Она умерла давно. Мама говорит, она была самая... - Он вдруг остановился. Посмотрел на меня внимательнее. Я видела, как он считает. Не выходы. Что-то другое. - Подождите. Ледовская. Татьяна Михайловна Ледовская. Это...

- Это моя мама, - сказала я.

Хлопнула входная дверь.

В прихожей кто-то поставил на пол тяжёлую сумку. Шаги. В дверях комнаты появилась женщина. Высокая, светловолосая, в тёмном пальто, с папкой нот под мышкой. Та самая, из кабинета Шубина. Елена Романовна Ланская. Лицо у неё было строгое и усталое, а под пальто, я заметила, был свитер, весь в катышках, домашний, совсем не такой, как пальто.

Она посмотрела на меня. На Марка. На фотографию, перед которой я стояла.

Долго.

- Светлана Викторовна, - сказала она. Негромко. - Здравствуйте.

- Здравствуйте.

- Матвей вас пустил?

- Марк меня пустил.

- А, - сказала Елена Романовна. Тот же звук, что у Марка. Видимо, семейный. Она поставила папку на "Петроф". Сняла пальто. Подошла и встала рядом со мной перед "Шрёдером". Посмотрела на фотографию. - Вы её узнали.

- У папы в кабинете висел портрет. Один. Других не было.

- Я знаю, - сказала Елена Романовна. - Он убрал все. В ту же неделю. Мне Лев Матвеевич говорил.

- Почему эта у вас?

Елена Романовна помолчала.

- Потому что я её любила, - сказала она. Просто. - Она была моей учительницей с двенадцати лет. Она была мне... больше, чем учительницей. Это единственная её фотография, которая у меня есть. Я её не отдам, Светлана Викторовна. Даже вам. Простите.

- Я не прошу, - сказала я.

Я смотрела на младенца в белом чепчике. Он тянул ручку к маминому лицу. Мама смеялась.

Паша, подумала я. Это, наверное, Паша. Или Олег. Нет, Олег старше, у Олега были бы волосы. Паша. Конечно, Паша. Паша всегда был её. Ему она оставила тетрадь. "Паше. Когда подрастёшь". Он мне показывал, в сентябре, после похорон. Тридцать одна пьеса. Её почерк.

Мне она не оставила ничего. Мне было восемь месяцев.

Я не плакала. Я Ледовская. Мы стоим прямо.

- Можно я сфотографирую? - спросила я. И сразу пожалела. Это было похоже на просьбу.

Елена Романовна посмотрела на меня.

- Можно, - сказала она.

Я достала телефон. Руки не слушались. Я сфотографировала. Посмотрела на экран. Мама смеялась у меня в телефоне.

- Пять минут прошли, - сказал голос от двери.

Матвей стоял на пороге. В фартуке. С ключом в руке. Он смотрел не на меня. На сестру.

- Лена, - сказал он.

- Матвей, - сказала Елена Романовна.

Они смотрели друг на друга, и я поняла, что это не первый их разговор на эту тему. И не десятый. И что сейчас будет одиннадцатый, и что я его не должна слышать.

- Я пойду, - сказала я.

- Нет, - сказал Марк.

- Да, - сказал Матвей.

- Светлана Викторовна, - сказала Елена Романовна. Она не смотрела на брата. Она смотрела на меня. - Мы обедаем по воскресеньям в два. Марк приходит из музыкальной школы в час сорок. Если хотите, приезжайте в воскресенье.

- Лена! - сказал Матвей.

- Это мой дом, Матвей, - сказала Елена Романовна. Очень тихо. - И мой сын.

Матвей замолчал.

Он стоял в дверях, высокий, худой, в фартуке, и смотрел на сестру. Потом на Марка. Потом на меня. Я увидела в его лице то, чего не ожидала. Не злость. Что-то под злостью. Как у старого пианино, когда снимают переднюю стенку, и видно, что внутри.

Страх.

Он боится, подумала я. Он меня боится. Не меня. Того, что я Ледовская. Того, что я приехала за Марком, как когда-то за чем-то приезжал отец.

- Уезжай в свой Лондон, - сказал он мне. Тихо, на "ты". Как будто это вырвалось. - Пожалуйста. Уезжай.

И ушёл. Хлопнула входная дверь. Через минуту из сарая донеслась нота. Одна. Высокая. Громко. Потом снова. Громче. Как будто кто-то бил по ней.

Марк смотрел на дверь.

- Он не злой, - сказал он мне. - Он просто...

- Я знаю, - сказала я.

Я не знала. Но мне хотелось, чтобы Марк думал, что я знаю.

* * *

Я стояла на платформе в Сергиевом Посаде и ждала электричку на Москву.

Было четыре часа дня. Солнце висело низко над куполами, и они горели так, что больно смотреть. На платформе пахло мокрым бетоном и чебуреками. Бабушка с рассадой мне больше не попадалась.

Я достала телефон. Открыла фотографию. Мама смеялась на веранде.

Потом открыла почту. Письмо от авиакомпании: "Ваш рейс Москва - Лондон, 18 марта, 11:40. Регистрация открыта".

Я смотрела на письмо.

Мистер Хартли дал мне неделю. На похороны, сказал он, хотя похороны были полгода назад, но он не стал вникать в русские подробности. На оглашение завещания. На "семейные дела". Неделя кончается в понедельник. В понедельник у нас сдача эскизов по мосту через Ли, моя часть: опоры и узлы. Чужой мост. Мне в нём принадлежат опоры и узлы. Как обычно.

Я нажала "Управление бронированием".

Потом "Отменить".

Потом "Вы уверены? Стоимость билета не возвращается".

Я посмотрела на кнопку.

Я не прошу, подумала я. Я никого ни о чём не прошу. Я просто остаюсь. Это разные вещи.

Я нажала "Да".

Электричка подошла, зелёная, с красной полосой. Двери открылись с шипением. Я вошла, села у окна. Напротив меня сел парень с гитарой в чехле, посмотрел на мои ботинки и ничего не сказал. Слава богу.

Электричка тронулась. Купола поплыли назад.

Я подумала о том, что Матвей Романович Ланской слышит, как садится голос. На четверть тона. И что он слышал, как сел мой. Дважды. Он единственный человек за двадцать шесть лет, который это услышал.

Мне ничего не надо, сказала я себе. Тихо. Внутри.

Голос, наверное, опять сел. Но здесь его никто не слышал.

Я посмотрела на фотографию в телефоне. Мама смеялась. Младенец в белом чепчике тянул к ней руку.

Паша, подумала я. Повезло тебе, Паша.

И закрыла глаза до самой Москвы.

ГЛАВА 2. ЛЯ ПЕРВОЙ ОКТАВЫ

Матвей

Из журнала мастерской М. Ланского: "16.03.2028. "Беккер", 1898, частная музыкальная студия, Хотьково. Ля - 436, поднял до 440. Вирбели держат плохо, дека в трещинах. Хозяйка просит, чтобы звучало "как раньше". Как раньше не будет. Будет как надо".

Ля первой октавы - четыреста сорок колебаний в секунду.

Это единственное, в чём я уверен. Всё остальное может врать. Люди, документы, фотографии, погода в прогнозе. Ля - нет. Ля либо четыреста сорок, либо нет. Если четыреста тридцать восемь, ты это слышишь. Если тебе говорят, что четыреста сорок, а ты слышишь четыреста тридцать восемь, значит, тебе врут. Всё просто.

Я стоял в мастерской и бил по ля.

Не настраивал. Бил. Палец, клавиша, молоточек, струна. Звук. Ещё раз. Ещё. Ля держалась. Я её вчера настроил, она держалась идеально, четыреста сорок, хоть в палату мер и весов. Я бил по ней, потому что мне надо было по чему-то бить, а бить по людям я разучился в девятом классе, когда сломал руку о челюсть Витьки Рогова и полгода не мог работать с колками.

Хлопнула калитка. Она ушла.

Я слышал, как она идёт по двору. Быстро. Ботинки хлюпают. Остановилась. Наверное, обернулась на дом. Потом калитка. Потом шаги по улице. Потом ничего.

Я ударил по ля ещё раз и убрал руку.

Тишина в мастерской бывает разная. Бывает рабочая, когда инструменты стоят и ждут. Бывает ночная, когда дерево потрескивает и отдаёт тепло, накопленное за день. А бывает такая, как сейчас: когда кто-то только что был, а теперь нет, и воздух ещё помнит его форму. Как струна, которую отпустили, а она ещё гудит.

Она пахла дождём. И чем-то сладким. Грушей, что ли. Лондонскими духами, наверное. Стояла у двери в своём зелёном подоле, грязном до колен, в рыжих ботинках, в пальто, в котором в марте в Посаде можно простыть за двадцать минут. И говорила. Быстро, громко, как будто боится, что если остановится, то её перебьют. Или не перебьют. Что хуже.

"Мне ничего не надо".

Голос сел. На четверть тона. Я это услышал так ясно, как слышу треснувшую деку. И она это поняла. Я видел, как она поняла. Как у неё покраснели уши.

Нечестно, подумал я. Я ей это сказал, а она теперь знает. Теперь будет следить за голосом.

Потом подумал: а мне-то что. Она уезжает. В свой Лондон.

Я снял фартук. Повесил на гвоздь. Выключил лампы. Пошёл в дом.

* * *

На кухне был совет. Я это понял ещё в прихожей, по тишине. У нас в доме совет всегда начинается с тишины. Лена ставит чайник, Марк сидит за столом и смотрит в одну точку, и никто ничего не говорит, пока я не войду. Потому что все знают, что начну я.

Я вошёл.

Лена стояла у плиты. Марк сидел за столом. Чайник шумел.

- Нет, - сказал я.

- Я ещё ничего не сказала, - сказала Лена.

- Ты сказала. В комнате. "Приезжайте в воскресенье". Это ты сказала.

- Да.

- Зачем?

Лена выключила чайник. Налила кипяток в заварочный, накрыла полотенцем. Она всё делает медленно, когда злится. Это у неё с консерватории, там учат, что торопливость - это фальшь.

- Потому что она его сестра, - сказала Лена.

- Она Ледовская.

- Он тоже Ледовский, Матвей. Наполовину. Ты это знаешь. Ты четырнадцать лет делаешь вид, что не знаешь, но ты знаешь.

- Он Ланской. У него в паспорте, то есть в свидетельстве, написано "Ланской".

- А отчество у него какое?

Я замолчал.

Отчество у него "Викторович". Это была единственная вещь, на которую Лена тогда настояла. В две тысячи тринадцатом. Я был против. Мне было семнадцать, я орал на неё в роддоме, что не надо, что пусть будет "Романович", как у нас, что отчество - это клеймо, что Ледовский выгнал нас из дома, а теперь будет записан в документах нашего ребёнка. Она лежала на кровати с Марком на руках, маленьким, красным, сморщенным, и смотрела на меня. И сказала: "Он его отец, Матюша. Это правда. Я не буду врать в документах". И записала "Викторович".

- Ты говоришь так, как будто она пришла его забрать, - сказала Лена.

- Они всегда приходят забрать, - сказал я. - Ты забыла? Я не забыл. Они пришли и забрали дом. Потом он пришёл и забрал тебя. Потом он сидел тут четырнадцать лет по последним субботам и смотрел на Марка так, как будто Марк - это вложение. Которое он когда-нибудь получит. А теперь он умер, и вот, пожалуйста, пришла получать.

- Матюш, - сказал Марк.

Я не обернулся.

- Матюша, - сказал Марк громче.

Я посмотрел на него.

Он сидел за столом в школьном пиджаке, который был ему мал. Пиджак мы покупали в августе. С тех пор он вырос на четыре сантиметра. Я мерил его на косяке в мастерской, у меня там отметки, с двух лет. Он смотрел на меня папиными глазами. Ледовскими. Светлыми, как вода в проруби.

- Он не ушёл, - сказал Марк. - Ты всё время говоришь, что он приходил и уходил. Он не ушёл. Он умер.

Я молчал.

- Он умер, Матюш, - повторил Марк. Голос у него сломался посередине, высокий стал низким. Он сейчас всё время ломается, этот голос, я его не узнаю. - Он больше не придёт. Никогда. Ни в последнюю субботу, ни в какую. А она пришла. Сама. На электричке. Она не за деньгами. Ты слышал, что она сказала?

- Слышал.

- И что?

- Голос сел, - сказал я.

Марк посмотрел на меня. Долго. Потом встал.

- У тебя всегда голос садится, - сказал он. - У всех. Ты всех слышишь. Только себя не слышишь.

И ушёл к себе. Наверх. Дверь хлопнула.

Через минуту сверху донёсся "Петроф". Марк играл Шопена. Этюд, двенадцатый, "Революционный". Громко. Левая рука неслась вниз, как будто кто-то бежал по лестнице через три ступеньки. Он играет его, когда злится. Хорошо играет. Злость ему идёт. Мне это не нравится.

Лена стояла у плиты и смотрела на меня.

- Ну что, - сказала она. - Доволен?

- Нет.

- Сядь.

Я сел. На табуретку у окна. И вскочил, потому что это была его табуретка. Ледовского. Он на ней сидел четырнадцать лет. Я её с сентября обхожу.

Лена поставила передо мной чашку. Села напротив. Взяла свою.

- Матюша, - сказала она. - Ты помнишь, как она пела?

Я замер.

- Не надо, - сказал я.

- Ты помнишь. Ты мне рассказывал, когда тебе было восемь. Ты говорил: тётя Таня поёт, как будто разговаривает. Как будто спрашивает и сама себе отвечает.

- Лена. Не надо.

- Её дочь, - сказала Лена. Очень тихо. - Это её дочь стояла сегодня у пианино. И смотрела на фотографию. И не знала, кто там. Ты видел её лицо? Она думала, это кто-то из братьев. Она даже не знает, что это она.

Я смотрел в чашку. Чай был тёмный, почти чёрный. Лена всегда заваривает слишком крепко.

- Она не знает, - сказала Лена. - Ей никто никогда не рассказывал. Ни отец, ни братья. Им самим никто не рассказывал. Он закрыл всё. Как рояль. Двадцать пять лет крышку не поднимал. Матвей, ей двадцать шесть лет, и она не знает, как пела её мать. А ты знаешь.

- Это не моё дело.

- Это твоё дело, - сказала Лена. - Больше, чем чьё-либо. Ты сам знаешь.

Я встал. Табуретка проехала по полу.

- Я в мастерской, - сказал я.

- Матвей.

Я остановился в дверях.

- В воскресенье она приедет, - сказала Лена. - Я её позвала. Это мой дом. Можешь сидеть в сарае. Можешь не выходить. Но она приедет.

Я ушёл.

* * *

В мастерской я не включил свет.

Сел на старый вертящийся табурет у "Беккера" из Хотькова. "Беккер" стоял с открытым нутром, как пациент на операционном столе, и ждал. Я положил руки на колени и смотрел в темноту.

Веранда.

Я об этом не думаю. Я научился. Это как с фальшивой струной: если её не трогать, она не звучит. Лежит себе в ряду, натянутая, и молчит. Можно годами играть рядом и ни разу не задеть.

Веранда. Солнце сквозь сосны. Плетёное кресло. Коляска. Белый чепчик.

Не думаю.

Я встал, включил одну лампу, над верстаком. Взял с полки журнал. Толстая тетрадь в коленкоровом переплёте, двенадцатая по счёту. Я веду их с шестнадцати лет. Михеев приучил: "Каждый инструмент, Матвей, это человек. У каждого есть история болезни. Пиши". Я пишу. Год, марка, адрес, что болит, что сделал.

Я открыл журнал на сегодняшней странице. Написал про "Беккер". Ля - четыреста тридцать шесть, поднял до четырёхсот сорока. Вирбели держат плохо. Хозяйка хочет, чтобы звучало как раньше.

Как раньше не будет, написал я. Будет как надо.

Посмотрел на эту строчку. Потом закрыл журнал.

На верхней полке, за банками с клеем и коробкой молоточков, стояла жестяная коробка. Из-под монпансье. Старая, с выцветшей картинкой, на которой был нарисован Кремль и написано "Ландрин". Я посмотрел на неё. Не достал.

Я её не достаю. Она там стоит. Как фальшивая струна. Если её не трогать, она не звучит.

* * *

В девять вечера позвонил Михеев.

Ему восемьдесят. Он не пользуется мобильным, у него дома стоит телефон с диском, чёрный, тяжёлый, ещё советский, и он звонит с него, когда что-то надо. Обычно это значит, что кто-то из консерватории привёз ему инструмент, а у него не хватает рук. Или что ему скучно.

- Матвей, - сказал он. Голос у него скрипучий, как несмазанная педаль. - Ты как?

- Нормально.

- Врёшь.

- Вру, - сказал я.

- Ко мне сегодня Шубин звонил, - сказал Михеев. - Юрист ихний. Спрашивал, правда ли, что ты тот самый Ланской, который "Блютнер" делал. Я сказал, что "Блютнер" делал я. Как договаривались. Он помолчал и сказал: "Спасибо, Пётр Ефимович. Я так и понял". И повесил трубку. Хитрый он, этот Шубин. Как старый кот. Он знает.

Я молчал.

"Блютнер" девятьсот шестого года. Её рояль. Ледовский привёз его Михееву в декабре двадцать шестого, когда ему сказали срок. Сказал: "Как был при ней". Михеев позвонил мне в тот же вечер. Сказал: "Матвей, тут один рояль. Ты знаешь чей. Будешь делать?"

Я делал девять месяцев. Каждую субботу и каждое воскресенье. По ночам. В мастерской у Михеева на Таганке. Я снимал с него деку и слушал, как гудит дерево, и вспоминал, как гудело другое дерево, когда я лежал под пианино на даче, а она играла над моей головой. Я менял струны, одну за другой, двести двадцать штук. Молоточки. Демпферы. Я нашёл в банкетке её ноты, с её пометками карандашом. "Медленнее". "Здесь дышать". "Паша спит, тише". Я их не трогал. Только пыль вытер.

Денег я не взял. Михеев взял. Он отдал их мне потом, в конверте. Я отдал их в детскую музыкальную школу, Лене, на новые банкетки. Лена спросила откуда. Я сказал, что подработал.

Ледовский так и не узнал, кто делал. Михеев не сказал. Я просил.

- Шубин - старый кот, - сказал я.

- Матвей, - сказал Михеев. - Ты бы сказал им.

- Что?

- Что делал ты. Что знал, чей это рояль. Что денег не взял.

- Зачем?

Михеев долго молчал. Я слышал, как у него на том конце тикают часы. Он живёт один, с часами. Их у него одиннадцать, и все идут вразнобой, он говорит, что так веселее.

- Затем, - сказал Михеев, - что ты двадцать шесть лет живёшь, как будто у тебя внутри струна лопнула и ты её не меняешь. Обходишь. Играешь мимо. Так нельзя, Матвей. Инструмент от этого портится. Весь.

- Пётр Ефимович.

- Я старый, - сказал Михеев. - Мне можно. Иди спать.

Он повесил трубку.

* * *

Ночью я не спал.

Лежал у себя наверху, в маленькой комнате под крышей, на старом диване, и слушал дом. Дом у нас старый, тысяча девятьсот десятого года, с каменным низом и деревянным верхом. Он всё время разговаривает. Половицы, трубы, ставни. Я знаю каждый звук. Вот Лена встала попить воды. Вот кошка соседская прошла по крыше. Вот Марк ворочается за стенкой.

Вот тишина.

Я думал про её голос.

Он у неё не только садился. Он ещё и звенел. Высоко, когда она смеялась. Я слышал, как она засмеялась в прихожей, когда Марк сказал что-то про её ботинки. Это был хороший смех. Чистый. Ля второй октавы, восемьсот восемьдесят. Без фальши.

А потом, у фотографии, голос стал другой. Я стоял в дверях и слышал. Она спросила: "Кто это?" И голос у неё стал чужой. Как у инструмента, который долго стоял в холодной комнате, а потом его внесли в тепло, и он ещё не понял, где он.

Она не знает, подумал я.

Она стояла перед фотографией и не знала, что там она. В белом чепчике. Восемь месяцев. На руках у матери, которая смеётся. Июль две тысячи второго года. Я помню, как Лена снимала. Это был её первый фотоаппарат, мыльница, она купила на стипендию. Она сказала: "Тётя Таня, посмотрите на меня". А тётя Таня не посмотрела, потому что Светка в этот момент схватила её за нос. И тётя Таня засмеялась. И Лена нажала.

А я стоял за Леной. Мне было шесть. Я помню, что держал в руке шишку.

Она подумала, что это Паша. Я видел, как она подумала. По лицу. Лицо у неё всё показывает, как открытая дека, все струны видно. Она подумала: Паша. И ей стало больно, что это Паша, а не она.

Я не стал говорить.

Это не моё дело, сказал я себе.

Это твоё дело, сказала Лена. Больше, чем чьё-либо.

Я перевернулся на другой бок. Посмотрел в окно. В окне были звёзды и край крыши сарая. А за сараем, за забором, за улицей, за городом, в десяти километрах на юго-запад, если по прямой, стоял жёлтый дом.

Я не был там двадцать шесть лет. Я проезжаю мимо поворота на электричке, когда езжу к Михееву. Два раза в неделю. И каждый раз не смотрю в окно. Каждый раз.

Как он, подумал я. Как Ледовский. Он тоже не входил. Мне Лена рассказывала. Он сидел у ворот в машине каждое четырнадцатое августа. Двадцать четыре года. И не входил.

А я даже не подъезжаю.

Я лежал и слушал, как за стенкой ворочается Марк. Потом он затих. Потом вдруг, очень тихо, так, что только я мог услышать, внизу открылась крышка пианино. Не "Петрофа". "Шрёдера". У "Шрёдера" крышка открывается с другим звуком: петля чуть поскрипывает, я её нарочно не смазываю, мне нравится.

Марк спустился. Я не слышал как. Он ходит бесшумно, когда хочет.

И заиграл.

Тихо. Почти без педали. Медленно.

"Старинную французскую песенку". Чайковского. Из "Детского альбома".

Он её играл в восемь лет, когда учился. Потом бросил, сказал, что это для малышей. А сейчас играл. Ночью. Тихо. На её пианино. Как вопрос, который задают снова и снова, потому что не получили ответа.

Отец ему рассказывал, подумал я. Ледовский. Про сына, который научился сам. По маминой тетради. Ночью. Марк мне говорил. Что отец рассказывал про Павла. Что Павел играл эту песенку.

Я лежал наверху и слушал, как мой мальчик играет внизу песенку, которую играет его брат, которого он никогда не видел, на пианино их общей... нет. Не общей. Её. Тёти Тани.

Я лежал и слушал и думал о том, что в воскресенье в два часа приедет её дочь.

И что я буду сидеть в сарае. И не выйду.

Марк доиграл. Песенка кончилась на вопросе. Она всегда так кончается. Он посидел. Потом сыграл ещё раз.

Я накрылся одеялом с головой.

Это не помогло. Я всё равно слышал.

Ля первой октавы у "Шрёдера" за ночь сползла на полгерца. Четыреста тридцать девять с половиной. Это от сырости, весна. Завтра подтяну.

Никто, кроме меня, этого не услышит.

ГЛАВА 3. ЖЁЛТЫЙ ДОМ

Света

Из рабочей тетради архитектора С. Ледовской: "Консоль - конструкция, закреплённая с одной стороны. Держится сама, без второй опоры. Очень красиво. Пока не нагрузишь".

Олег позвонил сам. В субботу, в восемь утра.

Я не спала. Я сидела на полу в пустой гостиной, на том же светлом прямоугольнике от рояля, с ноутбуком на коленях, и делала вид, что работаю над узлами для моста через Ли. Узлы не получались. Узлы вообще редко получаются, когда в телефоне у тебя фотография, на которую ты смотришь каждые десять минут.

- Свет, - сказал Олег. Голос у него был бодрый и невыспавшийся одновременно. Так звучат все, у кого месячный ребёнок. - Ты где?

- В папином доме.

- Одна?

- С крюком от люстры.

Он помолчал. Олег всегда молчит ровно на секунду дольше, чем нужно, когда считает что-то в уме.

- Ты сдала билет, - сказал он.

- Откуда ты...

- Шубин. Он позвонил мне вчера вечером. Сказал: "Олег Викторович, ваша сестра сдала билет и поехала на электричке в Сергиев Посад. В рыжих ботинках". Я сказал: "Спасибо, Лев Матвеевич". Он сказал: "Пожалуйста. Я подумал, вам будет интересно". И повесил трубку. Свет, он стал нам звонить. Сам. Без дела. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что он стареет. Или что он нас любит. Я не знаю, что страшнее.

Я засмеялась.

- Где ты будешь жить? - спросил Олег.

- Здесь.

- В этом доме?

- А что такого?

- Свет. - Олег вздохнул. - Ты там три дня. Ты спишь на полу?

- На диване. Диван оставили.

- Это не диван, это памятник. На нём сидел губернатор в две тысячи девятом. Приезжай к нам.

Я молчала.

- В Абрамцево, - сказал Олег. - Сергиев Посад в десяти километрах. На машине пятнадцать минут. У нас комната на втором этаже, правда, там Варя держит свои провода, но она их уберёт. Наташа будет счастлива, ей не с кем обсуждать, когда все умрут. Тим тебе завяжет что-нибудь. Соня будет кормить, она всех кормит. Витя будет орать, он орёт, но это бесплатно.

- Олег, мне не...

- Тебе ничего не надо, - сказал Олег. - Я знаю. Ты двадцать шесть лет так говоришь. Это не тебе надо. Это мне надо. Мне нужен ещё один взрослый в доме, который может держать ребёнка, пока Соня спит. Я тебя нанимаю. Бесплатно. Приезжай.

Я смотрела на крюк в потолке.

Он сказал: "мне надо". Он, Олег, который всю жизнь шутил, чтобы ничего не говорить. Он научился. Это Соня его научила. Я видела в сентябре, на похоронах, как он держал её за руку и не шутил.

- Ладно, - сказала я.

- Ладно что?

- Приеду. Но я буду платить за еду.

- Конечно, - сказал Олег. - Будешь. Соня тебе выставит счёт. Она бывший главбух. Её мама, то есть. Неважно. Гриша за тобой заедет в двенадцать.

- Я на электричке.

- Свет.

- Я на электричке, Олег.

Он помолчал секунду дольше, чем нужно.

- Шубин прав, - сказал он. - Ты на отца похожа больше, чем мы все вместе взятые.

* * *

Абрамцево было в снегу.

Не в сером, московском. В настоящем, белом, рыхлом, мартовском, который ещё держится в лесу, хотя на дорогах уже вода. Я шла от платформы полтора километра через лес, по тропинке, с одним чемоданом на колёсиках, который застревал в каждой колее. Над головой стучал дятел. Где-то внизу, за деревьями, шумела река.

Я не была здесь никогда.

Нет. Это неправда. Я поняла это, когда вышла из леса и увидела дом. Я была здесь. Когда-то. Я не помнила этого. Но что-то внутри меня узнало забор, и калитку с кованым кругом посередине, и огромную старую сосну у крыльца, наклонённую к дому, как будто она подслушивает.

Дом был жёлтый. Двухэтажный, деревянный, с белыми наличниками и с большой открытой верандой на южной стороне. Свежий, крашеный. Оля в позапрошлом году перебрала его с прорабом за две с половиной недели, Олег мне рассказывал. Всё новое: крыша, окна, проводка, печь. Всё, кроме веранды.

Веранда была старая. Серая. Доски на полу потёрты до волокон. Перила резные, в одном месте сломаны и связаны проволокой. В углу стояло плетёное кресло, тёмное от времени. И столик. И всё.

Я остановилась у калитки.

Калитка распахнулась. Из неё вылетело что-то маленькое, белое и рыжее одновременно. В тельняшке до колен, в резиновых сапогах на босу ногу, с огромной тряпичной рыбой под мышкой. Рыжее было таксой, которая бежала следом и лаяла.

Белое остановилось передо мной. Посмотрело снизу вверх. Изучило. Ботинки, юбку, чемодан, лицо.

- Ты Света, - сказала Наташа. Не спросила.

- Я Света.

- Ты Пашина сестра.

- И Олегова.

- Олег говорит, ты из Лондона. - Наташа подумала. - А в Лондоне умирают?

- Умирают.

- А ты когда умрёшь?

Я присела на корточки. Мы оказались вровень. Глаза у неё были серьёзные, круглые, голубые, а на подбородке засохло варенье.

- Не знаю, - сказала я. - Наверное, не скоро. Мне ещё надо мост построить.

- Какой мост?

- Свой. У меня ещё ни одного своего нет. Только чужие.

Наташа посмотрела на меня с большим уважением.

- Тогда ладно, - сказала она. - Это Сазан. Подержи. Он хочет к тебе.

И сунула мне в руки рыбу. Брезентовую, старую, с пуговицей вместо глаза.

Я держала рыбу. Я знала эту рыбу. Паша рассказывал: Сазан. Наташа даёт его подержать тем, кому страшно. Он был у Ирины. Ирина отдала обратно в декабре, после суда.

Мне не было страшно.

Мне было страшно.

- Спасибо, - сказала я.

- Потом отдашь, - сказала Наташа и убежала в дом. Такса осталась. Посмотрела на меня. Чихнула. Ушла следом.

Я стояла у калитки с чемоданом и с Сазаном. Сосна над домом качнулась от ветра, и с неё упал ком снега. Прямо на веранду. На плетёное кресло.

* * *

Внутри было тепло, шумно и пахло пирогами. Соня, бледная, растрёпанная, в огромном свитере Олега, с младенцем на плече, обняла меня одной рукой, поцеловала в щёку и сказала: "Слава богу, взрослая". Младенец посмотрел на меня мутными сине-серыми глазами и срыгнул мне на пальто. Соня сказала: "Это он здоровается". Тим, десятилетний, лопоухий, серьёзный, стоял в дверях кухни и смотрел на меня так, будто решал, какой узел мне подходит. Варя, пятнадцатилетняя, длинная, в очках и в толстовке с надписью, которую я не стала переводить, сидела за столом перед двумя ноутбуками и не подняла головы.

- Ланской Матвей Романович, - сказала Варя вместо "здравствуй". - Индивидуальный предприниматель. Настройка и реставрация фортепиано. Рейтинг на картах четыре и девять. Сорок три отзыва. Самый короткий: "Грубый. Гений". Самый длинный на две страницы, от какой-то бабушки из Хотькова, она пишет, что он перебрал ей пианино покойного мужа и денег взял вдвое меньше, чем договорились, потому что, цитирую, "сказал, что инструмент хороший, а хозяйка ещё лучше". Ему тридцать два. Не женат. Судимостей нет. В соцсетях нет. Вообще нигде нет. Его как будто нет.

- Варя, - сказала Соня. - Мы же договорились.

- Мы договорились, что я не взламываю. Я не взламываю. Это всё открытое. - Варя наконец подняла голову и посмотрела на меня. - Здравствуйте, Светлана Викторовна. Он вас выгнал?

- Да.

- А Марк?

- А Марк меня пустил.

Варя кивнула, как будто это совпадало с её расчётами.

- Марк в восьмом классе в Посаде, - сказала она. - Я в девятом в Хотькове. Мы на олимпиаде по информатике в прошлом году вместе сидели. Он лучше меня решил одну задачу. Одну. Я до сих пор не могу ему этого простить.

- Ты его знаешь? - Я села на стул. - Ты знала, что он...

- Что он Ледовский? Нет. Узнала позавчера. Вечером. Олег сказал. - Варя пожала плечами. - Я ему написала. Марку. Что я, оказывается, его почти племянница. Он ответил: "Не бывает почти племянниц". Я ответила, что бывают, если твой опекун - его брат. Он ответил: "Логично". Мы теперь переписываемся. Он, кстати, про вас написал.

- Что?

Варя посмотрела в экран.

- "Она приехала в ботинках, которые стоят как мой "Петроф", и у неё были грязные колени. Матюша её выгнал. Она не ушла. Мама сказала "в воскресенье". Матюша хлопнул дверью. Я играл Шопена". - Варя подняла глаза. - Он всегда пишет, что играл. Как будто это объясняет.

Это объясняло.

Тим подошёл ко мне. Молча. Положил на стол передо мной верёвочку. Тонкую, белую. С узлом. Узел был простой, плоский, аккуратный.

- Рифовый, - сказал Тим. Голос у него был хрипловатый, как у старой калитки. - Связывает два конца.

Я посмотрела на верёвку. Потом на него.

- Спасибо, - сказала я.

- Паше я такой давал, - сказал Тим. - Год назад. Потом он женился.

- Он ещё не женился.

- Женится, - сказал Тим. Уверенно. И ушёл.

* * *

Вечером мы с Олегом сидели на веранде.

Было холодно. Мы сидели в куртках, с кружками чая. Олег на ступеньке, я в плетёном кресле. Он сказал "садись", и я села, не подумав. Над лесом садилось солнце, и снег под соснами был синим, а стволы оранжевыми. Внизу, за участком, шумела река. Воря. Олег сказал, что весной она разливается до самого забора.

Витя спал в доме. Соня спала в доме. Наташа спала, обняв таксу. Тим вязал что-то в своей комнате, Варя стучала по клавишам. Дом гудел тихо, как улей зимой.

- Почему вы не поменяли веранду? - спросила я.

Олег долго не отвечал. Пил чай. Смотрел на лес.

- Отец просил, - сказал он. - Через Шубина. Когда узнал, что мы тут затеяли ремонт. В сентябре двадцать шестого. Шубин позвонил и сказал: "Виктор Андреевич просит веранду не трогать. Ничего. Ни одной доски". Я спросил почему. Шубин сказал: "Он не объяснил". Оля хотела хотя бы перила починить. Я сказал: не трогай.

Я смотрела на перила. Связанные проволокой. На доски пола. На резной столбик в углу, весь в трещинах. На кресло, в котором сидела.

Плетёное. Тёмное. С высокой спинкой и широкими подлокотниками. Одна ножка чуть короче, кресло покачивалось, когда я двигалась.

Я достала телефон.

Открыла фотографию.

Веранда. Деревянные перила. Сосны за ними. Плетёное кресло. Женщина в платье в цветочек, с младенцем. Смеётся.

Я подняла голову. Посмотрела на перила. На сосны. На резной столбик в углу.

Это был тот же столбик. Тот же угол. Те же сосны, только меньше. Та же веранда.

Я сидела в том же кресле.

- Олег, - сказала я. Голос пропал. Я откашлялась. - Олег. Посмотри.

Я протянула ему телефон.

Он взял. Посмотрел. Долго. Я видела, как у него меняется лицо. Как исчезает с него то, что Олег всегда носит, как пиджак: лёгкость, насмешка, готовность пошутить. Под пиджаком было лицо девятилетнего мальчика.

- Где ты это взяла? - спросил он. Тихо.

- У Ланских. Стоит у них на пианино. Елена Романовна сказала, что это её единственная мамина фотография.

Олег смотрел на экран.

- Это здесь, - сказал он.

- Я вижу.

- Это здесь. Это кресло. Это... - Он увеличил фотографию пальцами. Смотрел на маму. - Она так смеялась. Я забыл. Я совсем забыл, Свет. Она так смеялась, когда я ей рассказывал анекдоты. Я тогда уже рассказывал анекдоты. Мне было девять. Я специально учил, чтобы она смеялась. Я забыл, что я их для неё учил.

Он отдал мне телефон. Отвернулся. Смотрел на лес.

- Мама сюда ездила, - сказал он. - Летом. С нами. Каждое лето, с девяносто восьмого. Отец не ездил. Отец, по-моему, вообще не знал. Мы ему не говорили. Мама говорила, что это

наша тайна. Что это наш дом. Её и наш. Я думал, что она его сняла. Потом думал, что купила. Я не знал, что на чужое имя. Я узнал в прошлом году, когда Шубин выписку принёс.

- А Ланская?

Олег помолчал.

- Тут жила девушка, - сказал он. - Мамина ученица. Я её почти не помню. Она была всегда за пианино. Тут стояло пианино. Мамино. Чёрное, старое, с подсвечниками. Мама учила её, а мы бегали на речку. Лена. Её звали Лена. Я не знал фамилии. Позавчера у Шубина она вошла, и я подумал: я её где-то видел. И только ночью понял. Лена. Та самая.

Пианино, подумала я. Чёрное, старое, с подсвечниками. "Шрёдер. С.-Петербург". Стоит у Ланских напротив "Петрофа". Марк на нём играет. "Матюша его сам восстановил. Три года".

- Оно у них, - сказала я. - Пианино. Мамино. Я на нём сегодня... то есть позавчера. Видела.

Олег повернулся ко мне.

Мы смотрели друг на друга. Брат и сестра. Двое Ледовских, которые ничего не знали о собственной матери.

- Олег, - сказала я. - А где она умерла?

Он не ответил.

Над лесом догорало солнце. Снег стал совсем синим. Река шумела.

- Здесь, - сказал Олег.

Я сидела в кресле.

- Здесь, - повторил он. - На веранде. Четырнадцатого августа. Нас няня увела на речку, меня, Серёжу, Пашу. Мы купались. Потом прибежала какая-то соседка, кричала. Мы пришли, а тут скорая. И нас не пустили. Няня нас увела к соседям. Я помню, что у соседей был телевизор и показывали "Ну, погоди". Я смотрел "Ну, погоди". А мама...

Он замолчал.

- Аневризма, - сказал он. - Мне потом сказали. Через много лет. Сосуд в голове. Лопнул. Сразу. Она ничего не почувствовала, сказали. Я не знаю, правда это или так говорят.

Я сидела в плетёном кресле. На веранде. Где мама умерла.

- Мне никто никогда не говорил, где, - сказала я.

- Ты не спрашивала.

- Я никогда ничего не спрашиваю.

Олег посмотрел на меня.

- Это семейное, - сказал он.

Я встала с кресла. Не резко. Медленно. Как встают с места, на котором, оказывается, сидели всю жизнь и не знали. Встала рядом с перилами. Положила руку на проволоку, которой связали сломанное место.

- Отец, - сказала я. - Он поэтому не велел трогать.

- Он каждое четырнадцатое августа сюда приезжал, - сказал Олег. - Двадцать четыре года. Сидел в машине у ворот. Не входил. Я узнал от него самого. Летом двадцать шестого. Он мне сказал. Единственный раз.

- А я где была? Тогда. Четырнадцатого.

Олег подумал.

- Не знаю, - сказал он. - Ты была маленькая. Тебе было... восемь месяцев? Ты, наверное, была в Москве. С другой няней. Я не помню тебя здесь. Я вообще тебя тогда плохо помню. Ты была что-то такое в коляске, что орало.

Я засмеялась. Это было неправильно, но я засмеялась. Олег тоже. Мы стояли на веранде, где умерла наша мать, и смеялись, потому что Олег всегда смешит, когда больно, и я всегда смеюсь, когда больно, и мы оба Ледовские, и нам обоим двадцать шесть лет не говорили правду.

Потом перестали.

* * *

- Свет, - сказал Олег, когда мы уже пошли в дом. Он остановился в дверях. - Можно я спрошу одну вещь? Неприятную.

- Спрашивай.

- Ты к ним ездишь. К Ланским.

- Один раз съездила. В воскресенье поеду ещё.

- Ты знаешь, что Марку отошло двадцать процентов холдинга?

- Знаю. Я была у Шубина.

- Ты знаешь, что такое двадцать процентов? - Олег прислонился к косяку. Лицо у него стало другим. Деловым. Генеральный директор. - Это место в совете директоров. Это право блокировать любую крупную сделку, если найдётся ещё кто-то с пятью процентами. А у нас есть миноритарии, Свет. Мелкие, старые, ещё с девяностых. Кто-то из них продаст. Кто-то всегда продаёт.

- И?

- Сабуров, - сказал Олег. - Игорь Леонидович. "Сабуров Девелопмент". Ты не знаешь, ты в Лондоне. Он двадцать лет хочет нас съесть. Он сидел с отцом в одних кабинетах и улыбался, а потом шёл и перекупал наши тендеры. Позавчера, через час после оглашения, мне позвонил его человек. Спросил, правда ли, что пятая доля отошла несовершеннолетнему. Я спросил, откуда он знает. Он засмеялся.

Я молчала.

- Он пойдёт к ним, - сказал Олег. - К Ланским. Он предложит денег. Много денег. Больше, чем это стоит. Чтобы матери было стыдно отказаться. А у них, Свет, - он помолчал, - у них дом тысяча девятьсот десятого года и мастерская в сарае. Они откажутся? Ты думаешь, они откажутся?

- Не знаю.

- Вот, - сказал Олег. - Я тоже не знаю. Поговори с ними.

Я посмотрела на него.

- О чём?

- Что, если они захотят продавать, пусть продают нам. Нам, семье. Мы дадим хорошую цену. Честную. Мальчик ни в чём не будет нуждаться. Но пусть не Сабурову. Пусть...

- Нет, - сказала я.

Олег замолчал.

- Нет, - повторила я. - Я туда не за этим езжу. Я не буду с ними про деньги. Ни про какие. Ни про ваши, ни про сабуровские. Матвей Романович и так думает, что Ледовские приходят забирать. Я туда приехала к брату. Не к доле.

- Свет, это холдинг. Отцовский. Одиннадцать тысяч человек.

- Я знаю, сколько человек. Я выросла среди этих людей, Олег. Они мне на день рождения дарили открытки с логотипом.

Олег смотрел на меня. Долго. Ровно на секунду дольше, чем нужно.

- Ладно, - сказал он. - Я понял.

- Правда понял?

- Правда. - Он поднял руки. - Ладно. Я сам. Через Шубина. Ты не участвуешь. Ты сестра. Ты к брату.

Он ушёл в дом.

Я осталась на пороге. На веранде было темно. Кресло стояло в углу, тёмное, плетёное, с короткой ножкой.

Я вернулась. Села в него. Оно качнулось.

Мама, подумала я. Здесь.

Я сидела в темноте и держала на коленях Сазана, которого так и не отдала Наташе. Рыба пахла брезентом и детскими руками.

* * *

Мистер Хартли позвонил в понедельник, в девять утра по Лондону, в двенадцать по Москве.

Я была на веранде. С Витей на руках. Соня спала, Олег уехал в башню, дети были в школе, а Витя проснулся и орал, и я его взяла, и вышла с ним на веранду, потому что там холодно и свежо, а холод его успокаивает, Соня говорит. Он успокоился. Лежал у меня на руках, в одеяле, и смотрел на сосны мутными глазами, и пускал пузыри.

- Светлана, - сказал мистер Хартли. Он единственный в бюро, кто произносит моё имя правильно, с мягким "л". Он учил русский в школе, в семидесятых. - Где вы?

- В России. Под Москвой.

- Я так и понял. Сегодня понедельник.

- Я знаю. Простите. Узлы по Ли я пришлю сегодня к вечеру. Я работаю.

- Узлы по Ли сделал Джеймс, - сказал мистер Хартли. - В пятницу. Не очень хорошо, но сделал.

Я молчала. Витя пустил пузырь.

- Светлана, - сказал мистер Хартли. - Я старый человек. У меня был отец. Я знаю, что такое "семейные дела". Я не буду спрашивать. Я скажу. Вы можете работать удалённо. Чертежи, расчёты, узлы. Это можно из России, это можно из Антарктиды. Но пятнадцатого мая у нас конкурс на мост в Манчестере. Пешеходный. Я хочу, чтобы вы были в команде. Не на узлах. На концепции. Это ваш шанс, Светлана. Первый. Если пятнадцатого мая вас не будет в бюро, я отдам концепцию Джеймсу. И, простите меня, ваш стол тоже.

Я стояла на веранде с племянником на руках. Сосны качались. Снег падал с веток.

Первый шанс, подумала я. Концепция. Свой мост. Пять лет я ждала, что он скажет эти слова.

- Я поняла, - сказала я.

- Вы будете?

Я подумала. О Марке, который будет играть Шопена в воскресенье. О Матвее, который будет сидеть в сарае. О фотографии на "Шрёдере". О веранде.

Если я скажу "мне нужно больше времени", он, наверное, даст. Он хороший человек. Он сказал: "я старый, у меня был отец". Он даст. Если я попрошу.

- Буду, - сказала я. - Пятнадцатого.

- Хорошо, - сказал мистер Хартли. Мне показалось, что он хотел сказать что-то ещё. Он не сказал. - Берегите себя, Светлана.

Он отключился.

Я стояла на веранде. Витя смотрел на меня. Серьёзно, внимательно. Потом сморщился и заорал.

- Я знаю, - сказала я ему. - Я тоже.

Пятнадцатое мая, подумала я. Восемь недель. Я никого ни о чём не просила.

Это не значит, что я согласна. Это значит, что я не просила.

Витя орал. Я качала его. На веранде. В плетёном кресле. Кресло поскрипывало, как будто напевало что-то себе под нос.

ГЛАВА 4. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Матвей

Из журнала мастерской М. Ланского: "19.03.2028. "Шрёдер", 1912, дом. Ля 439,5 - подтянул. "Ре" малой октавы дребезжит. Причину в инструменте не нашёл".

В воскресенье я сидел в сарае с одиннадцати утра.

Лена сказала: можешь сидеть в сарае. Я сидел. Я взял "Беккер" из Хотькова и стал менять ему вирбели. Это долгая работа, тупая, на весь день. Каждый вирбель надо вынуть, каждое гнездо рассверлить, каждый новый вирбель забить, каждую струну натянуть заново. Двести двадцать раз. Хорошая работа, когда не хочешь думать. Руки заняты, голова пустая.

Голова пустая не была.

В час сорок вернулся Марк из музыкалки. Я слышал, как хлопнула калитка, как он прошёл по двору. Остановился у сарая. Постоял. Я не обернулся. Он пошёл дальше.

В час пятьдесят пять хлопнула калитка ещё раз.

Я узнал шаги. Это смешно, я знаю. Я слышал её шаги один раз, четыре дня назад, по талой грязи. Но я узнал. Быстрые, лёгкие, немного неровные, как будто человек всё время торопится и всё время спотыкается. И ботинки. Тяжёлые, на толстой подошве. Звук другой. Глухой.

Она остановилась у сарая. Ровно там, где Марк.

Постояла.

Пошла дальше.

Я забил вирбель. Промахнулся. Попал по пальцу. Выругался на весь сарай, нецензурно, по-михеевски.

Из дома донёсся смех. Её. Высокий, чистый, ля второй октавы. Потом голос Марка, что-то быстро говорит. Потом снова смех.

Я забил вирбель. Попал.

* * *

В два ноль пять в дверь сарая постучали.

Громко. Как написано на табличке.

- Открыто, - сказал я.

Вошёл Марк. В домашнем свитере, который я ему отдал, свой, старый, у него рукава до кончиков пальцев. Он подошёл и встал рядом с "Беккером". Посмотрел на вирбели.

- Обед, - сказал он.

- Я работаю.

- Мама сказала, если ты не придёшь, она отдаст твою котлету Свете.

- Пусть отдаёт.

- Мама сказала, что ты так и ответишь. И сказала, чтобы я тогда сказал вот что. - Марк набрал воздуху. Видно было, что заучил. - "Матвей. Если ты не придёшь, я буду считать, что ты её боишься. И Марк будет считать. И Света будет считать. И ты сам будешь знать, что это правда".

Я положил молоток.

Лена. Тридцать два года она меня знает. С рождения. Она меня вырастила, она мне меняла пелёнки, когда ей самой было восемнадцать. Она знает, на какую клавишу нажать.

Я снял фартук.

* * *

Обед был в большой комнате, за раздвинутым столом, между "Петрофом" и "Шрёдером". Лена сделала котлеты, пюре и салат. На столе стоял ещё пирог, чужой, в стеклянной форме, с капустой. Я сразу понял, что не Ленин. Лена не печёт пироги в стекле.

- Это Соня передала, - сказала Ледовская. - Жена Олега. Она всех кормит. Она сказала, что с пустыми руками в гости не ходят.

Она сидела напротив меня. Между Марком и Леной. В свитере, тёмно-синем, мягком, и в какой-то юбке в клетку, и без ботинок, в шерстяных носках. Ботинки остались в прихожей. Лена её, видимо, разула. Лена всех разувает, это у неё со школы, там паркет.

Волосы у неё были короткие. Русые. Неровно остриженные, как будто она стригла их сама, ножницами, перед зеркалом, не очень глядя. Я в прошлый раз не заметил. В прошлый раз я смотрел на ботинки.

- Здравствуйте, Матвей Романович, - сказала она.

- Здравствуйте.

Мы сели. Лена разложила котлеты. Мы ели.

Тишину за столом я различаю, как различаю тишину в мастерской. Эта была плохая тишина. Натянутая. Как струна, которую перетянули на полтона: ещё немного, и лопнет.

Первым её порвал Марк.

- А в Лондоне правда всё серое? - спросил он.

- Серое, - сказала Ледовская. - И стеклянное. И мокрое. Но мосты красивые. Там через Темзу тридцать три моста. Я по всем ходила пешком. Каждое воскресенье, первый год. Когда только приехала.

- Одна?

- Одна.

- Зачем?

Она подумала.

- Мне было семнадцать, - сказала она. - Я никого не знала. В воскресенье все уезжают к родителям. А я ходила по мостам. Мост - это такая вещь, на которой не бывает одиноко. Он соединяет. Даже когда ты на нём одна, ты всё равно между двумя берегами. А не просто где-то.

Лена посмотрела на неё. Я видел, как Лена посмотрела. Так она смотрит на учеников, у которых вдруг, посреди этюда, получается что-то настоящее.

- А вы мост строили? - спросил Марк. - Свой?

- Нет, - сказала она. - Чужие. Я рисую узлы. Это где балки соединяются. Опоры. Иногда перила. Свой мост мне пока не дают. Мне двадцать шесть, в архитектуре это детский сад.

- А когда дадут?

Она помолчала. Положила вилку.

- В мае, может быть, - сказала она. - Пятнадцатого. Если я буду в Лондоне.

- А если не будете?

- Тогда не дадут, - сказала она. И улыбнулась Марку. Улыбка была нормальная. Голос нормальный. Я слушал. Голос не сел.

Она не врёт, подумал я. Ей правда надо в Лондон пятнадцатого. И она правда может не поехать.

Мне это не понравилось. Не знаю почему.

* * *

После обеда Марк сел за "Петроф".

Лена попросила. Сказала: "Марк, сыграй Светлане Викторовне что-нибудь". Марк сказал: "Свете". Лена сказала: "Свете". Марк сел.

Он сыграл Шопена. Ноктюрн, двадцатый, до-диез минор. Тот, который он учит к прослушиванию. Медленно, с паузами, со своими ошибками в среднем разделе, где у него левая рука ещё не догоняет. Я слышал каждую ошибку. Я их слышу во сне.

Ледовская сидела на диване и слушала. Не шевелилась. Руки на коленях, сжатые. Смотрела не на Марка. На его руки.

Когда он кончил, она не захлопала. Она сидела и молчала. Секунд десять. Потом сказала:

- Ещё. Пожалуйста.

Пожалуйста, подумал я. Она сказала "пожалуйста". Для неё. Это не просьба, это вежливость. Но я слышал. Это было для неё.

Марк сыграл ещё. Потом обернулся на табуретке.

- А вы? - спросил он.

- Что я?

- Сыграйте. Вы же Ледовская. Папа говорил, у вас все играют. Павел сам научился, по тетради. Серёжа в детстве играл, пока папа крышку не закрыл. Олег, папа говорил, тоже немного. А вы?

Она сидела на диване. Руки на коленях.

- Я не играю, - сказала она. - Совсем. Ни одной ноты.

- Почему?

- Я единственная, - сказала она. Спокойно. Без обиды. Как говорят о погоде. - Мама не успела. Мне было восемь месяцев. Братьев она учила, а меня не успела. А потом папа закрыл рояль.

- Совсем?

- Совсем. - Она посмотрела на "Петроф". - Мне было семь. Я однажды открыла. Тайком. Днём, когда никого не было. Я села на банкетку и подняла крышку. Там внутри было написано золотом. "Блютнер". Я нажала одну клавишу. Одну. Звук был такой... как будто кто-то проснулся. И вошёл папа.

Она замолчала.

Я стоял у "Шрёдера", спиной к стене. Я не шевелился.

"Блютнер". Девятьсот шестого года. Я знаю этот звук. Я знаю, какой он, когда он просыпается. Я его девять месяцев будил.

- Он не кричал, - сказала она. - Он подошёл. Посмотрел на меня. Закрыл крышку. Тихо. Не прищемил пальцы, я успела убрать. Он просто закрыл. И посмотрел. И ушёл. Ничего не сказал. Он мне вообще мало что говорил. - Она пожала плечами. - Я больше не открывала. Мне не хотелось. Так что я не играю. Я рисую. Это проще. У карандаша нет крышки.

Марк смотрел на неё с табуретки. Лена смотрела на неё. Я смотрел на неё.

Голос не сел. Ни на одном слове. Она говорила правду, всю, ровно, без единой фальшивой ноты, и от этого было хуже, чем если бы врала.

- Хотите, научу? - сказал Марк. - Я умею учить. Я маме помогаю, у неё в классе малыши. Я им показываю.

Она посмотрела на него. И улыбнулась. Так, как улыбаются, когда очень хотят и знают, что нельзя.

- Спасибо, - сказала она. - Мне не надо. Правда. Мне ничего не надо.

Вот. Четверть тона.

Я слышал, как сел. Ясно, как треснувшая струна. На слове "надо". Оба раза.

Я ничего не сказал. В прошлый раз я сказал, и она покраснела, и теперь она следит за голосом. Я видел, как она следит: перед "ничего" у неё была маленькая пауза, как вдох перед трудным пассажем. И всё равно сел.

Она не умеет врать, подумал я. Совсем. Ни одной ноты.

Как она.

Я не стал додумывать, кто "она".

* * *

В пять Лена поставила чай. Ледовская помогала носить чашки. Марк убежал наверх за чем-то, сказал, что хочет показать ей ноты, которые ему папа подарил. Мы с ней оказались вдвоём на кухне. Она ставила чашки на поднос. Я стоял у окна. Не у того, у которого табуретка. У другого.

- Можно я спрошу? - сказала она.

- Вы уже спрашиваете.

- Пианино. "Шрёдер". Оно ведь не ваше. Оно было на даче. В Абрамцеве.

Я замер.

Она ставила чашки. Не смотрела на меня. Ровно, аккуратно, одну к другой.

- Откуда вы знаете?

- Олег сказал. Он его помнит. Чёрное, с подсвечниками. Мама учила на нём Елену Романовну. - Она поставила последнюю чашку. Подняла голову. - И фотография. На крышке. Я её узнала. Я сидела в этом кресле. Вчера. На веранде.

- Где вы сидели? - Голос у меня был ровный. Я его держал. Как держат крышку рояля, чтобы не хлопнула.

- На веранде, - сказала она. - В Абрамцеве. Я там живу. У Олега. Со вчерашнего дня.

Я стоял у окна. За окном был двор, сарай, сосулька на краю крыши, капала. Кап. Кап. Ре малой октавы. Кап.

Она живёт в доме.

Она спит в доме. Ест в доме. Ходит по полу, по которому я ползал, когда мне было два. Сидит в кресле на веранде. В том самом кресле.

- Мама там умерла, - сказала она. Тихо. - На веранде. Олег сказал. Я не знала. Двадцать шесть лет. Мне никто не говорил. Я в кресле сидела, а потом он сказал, и я...

Она замолчала. Посмотрела на меня. Я видел её лицо. Всё в нём было видно, как в открытой деке. Каждая струна.

Скажи ей, сказала Лена в моей голове. Это твоё дело. Больше, чем чьё-либо.

Ты была там, подумал я. В коляске. В углу веранды, у столбика. Я тебя качал. Тебя. Ты пищала, а я качал, потому что тётя Таня сказала: "Матюша, покачай Светку, я спою". А потом...

- Мне надо в мастерскую, - сказал я.

Она смотрела на меня.

- Матвей Романович...

- Чай без меня, - сказал я. И вышел.

В прихожей я наступил на её ботинки. Они стояли у порога, рыжие, тяжёлые, мокрые. Я поправил их. Поставил ровно, носками к стене. Не знаю зачем.

* * *

В сарае я не включил свет.

Сел на табурет у "Беккера". Положил руки на клавиши. Не нажимал.

Через двадцать минут скрипнула дверь.

Я знал, что она придёт. Я слышал шаги по двору. Быстрые, неровные. В носках, она даже не обулась. По мокрому двору в шерстяных носках.

Она вошла и остановилась у порога. В темноте. Я видел только силуэт против двери, светлый прямоугольник.

- Простите, - сказала она. - Я не хотела... Я не знаю, что я сказала. Но я что-то сказала, и вы ушли.

- Вы в носках, - сказал я.

- Что?

- Вы пришли в носках. По двору. Там вода.

Она посмотрела на свои ноги. Пошевелила пальцами. Носки были мокрые насквозь.

- А, - сказала она. Тот самый звук. Как у Марка. Как у Лены. Я не знал, что у неё тоже. - Я забыла.

Я встал. Включил лампу над верстаком. Взял с полки свои старые валенки, которые стоят там на случай зимних ночей, когда печка не справляется. Огромные, серые, сорок пятого размера. Поставил перед ней.

- Надевайте.

Она посмотрела на валенки. На меня.

- Мне не...

- Надевайте, Ледовская. Это не забота. Это техника безопасности. В мастерской нельзя в мокрых носках. Тут лак. Поскользнётесь, упадёте на "Беккер", он девяносто восьмого года, я его месяц собираю.

Она засмеялась. Ля второй октавы. И надела валенки. Утонула в них по колено. Стояла посреди сарая в синем свитере, в клетчатой юбке и в огромных серых валенках, и смеялась.

Мне стало хуже. Не знаю почему.

- Что это? - спросила она. И показала на "Беккер". На открытое нутро. На ряды струн, на деревянную раму, на огромную светлую доску за струнами.

- Дека.

- Что такое дека?

- Это... - Я подумал, как объяснить. Я никогда никому не объяснял. Ученикам Михеева объяснять не надо, они сами знают. Марк знает с рождения. - Струна сама почти не звучит. Она тонкая. Её ударили, она дрожит, но звука почти нет. Тихо, как комар. Звучит дека. Струна передаёт ей дрожь, а она большая, деревянная, еловая, и она подхватывает и отдаёт в воздух. Это она поёт. Не струна. Дека.

Она подошла ближе. В валенках, шаркая. Наклонилась над "Беккером". Смотрела на деку. На трещины в ней, тонкие, тёмные, вдоль волокон.

- А это?

- Трещины. Старость. Сухость. Сто тридцать лет.

- Это можно починить?

- Можно. Но звук будет другой. Не хуже. Другой. Хозяйка хочет "как раньше". Как раньше не будет.

Она выпрямилась. Посмотрела на меня. Близко. Я впервые видел её глаза так близко, при свете. Тёмные. Карие, почти чёрные. Не ледовские. Не светлые, как у Марка, как у Ледовского, как у Павла на фотографиях. Другие.

Её, подумал я. У неё её глаза. Тёти Тани.

Я отступил на шаг.

- Матвей Романович, - сказала она. - Я не знаю, что я сделала не так. Я, наверное, вообще всё делаю не так. Я приехала, когда меня не звали. Я живу в доме, который, как выяснилось, принадлежит вашей сестре. Я сижу у вас на кухне и ем ваши котлеты. Я понимаю, почему вы меня... не любите.

- Я вас не знаю, чтобы не любить.

- Вы Ледовских не любите.

- Это да.

- Почему?

Я молчал. Лампа гудела над верстаком.

- Я не прошу рассказывать, - сказала она быстро. - Правда. Я просто...

- Вы никогда ничего не просите, - сказал я. - Я заметил. Вы говорите "я не прошу" чаще, чем "спасибо". Почему?

Она замерла.

Я не знаю, зачем я спросил. Это было не моё дело. Это было совсем не моё дело. Но я слышал это три раза за день: "я не прошу", "мне не надо", "мне ничего не надо". Как одну и ту же фальшивую ноту в пьесе, которую играют снова и снова и не замечают.

Она стояла посреди сарая в моих валенках и смотрела на меня. Долго.

- Потому что если не просишь, - сказала она, - то тебе не откажут.

Голос не сел.

Это была правда. Вся. От первого до последнего слова.

Я смотрел на неё. Она смотрела на меня. Между нами был "Беккер", девяносто восьмого года, с открытой декой, с трещинами вдоль волокон, которые можно починить, но звук будет другой.

- Света! - крикнул со двора Марк. - Вы где? Я ноты принёс! Папины!

Она вздрогнула. Обернулась к двери.

- Иду! - крикнула она. И посмотрела на валенки. На меня. - Я их верну.

- В воскресенье, - сказал я.

Я не знаю, зачем я это сказал. Это вырвалось. Как ре малой октавы, когда она дребезжит, хотя всё в инструменте исправно.

Она посмотрела на меня. Удивлённо. Потом медленно улыбнулась.

- В воскресенье, - сказала она.

И ушла. В валенках. Шаркая по мокрому двору. Я слышал, как она ойкнула у крыльца, поскользнулась, засмеялась, и как Марк сказал: "Это Матюшины, он их никому не даёт".

Никому, подумал я.

Я сел на табурет. Посмотрел на свои руки. На порезы от струн.

Потом открыл журнал. Записал про "Шрёдер". Ля - четыреста тридцать девять с половиной, подтянул. Ре малой октавы дребезжит.

Подумал. Дописал: "Причину в инструменте не нашёл".

Закрыл журнал.

Наверху, на полке, за банками с клеем, стояла жестяная коробка из-под монпансье. Я на неё не посмотрел.

Я её слышал.

ГЛАВА 5. ХАРРИНГТОН

Света

Из рабочей тетради архитектора С. Ледовской: "Ванта работает только на растяжение. Её нельзя сжать, она не упирается. Её можно только тянуть. Если тянут с одной стороны, ванта бесполезна. Висит и молчит".

Всю неделю я работала на кухне в Абрамцеве.

Мистер Хартли прислал мне чертежи манчестерского моста. Не концепцию, концепция будет пятнадцатого мая, если я там буду. Пока - исходные данные: река, берега, грунты, нагрузки, пожелания заказчика. Заказчик хотел "что-то лёгкое, но запоминающееся". Все заказчики хотят что-то лёгкое, но запоминающееся. Это как "звучало как раньше". Не бывает.

Я сидела за кухонным столом с ноутбуком и рисовала в тетради. В тетради мне думается лучше. Я рисовала береговые опоры, пролёты, ванты, и всё у меня получалось тяжёлое и незапоминающееся. Мосты, которые я рисую для чужих проектов, всегда получаются хорошо. Свой у меня не получался.

Витя спал в корзине рядом со мной. Соня сказала, что под стук клавиш он спит лучше, чем под колыбельную. Я стучала. Он спал.

Наташа приходила из садика в три, садилась напротив и смотрела, как я рисую. Молча. Минут двадцать. Потом говорила: "Кривой". Иногда: "Ничего". Однажды сказала: "Этот бы я перешла". Это была лучшая оценка за неделю.

Тим ничего не говорил. Тим приносил мне узлы. Каждый день по одному. В понедельник - рифовый, второй, потому что первый у меня в сумке. Во вторник - восьмёрку. В среду - булинь, сказал, что это "король узлов, его Олег десять дней учил". В четверг - какой-то сложный, круглый, похожий на кулак. Я спросила, как называется. Тим сказал: "Это я сам придумал. Пока без названия. Когда придумаю, скажу". Я положила все узлы в коробку из-под чая. Коробка стояла рядом с ноутбуком.

Варя приходила в пять, садилась за свои два ноутбука на другом конце стола и делала вид, что меня нет. В пятницу она сказала, не поднимая головы:

- Он вам не сказал. Да?

- Кто?

- Марк. Про Харрингтон.

Я подняла голову.

- Какой Харрингтон?

Варя посмотрела на меня поверх очков. Так, как смотрят на взрослых, которые ничего не понимают. Это она умеет лучше всех в доме. Олег говорит, что научилась у него.

- Школа, - сказала Варя. - Музыкальная. Под Лондоном. "Харрингтонская школа для одарённых молодых музыкантов". Одна из лучших в Англии. Туда берут с одиннадцати до восемнадцати. Он подал предварительную заявку в январе. Сам. Онлайн. Записал видео на телефон в музыкалке, отправил. Его пригласили на прослушивание. Пятнадцатое июня. Он мне письмо показал.

Я положила карандаш.

- В январе, - сказала я. - Когда папа ещё... То есть, когда никто ещё не знал про завещание.

- Ну да. - Варя пожала плечами. - Он сам. Он про Харрингтон узнал от отца. Отец ему рассказывал, что там учился какой-то пианист, которого он слушал в Лондоне. Марк запомнил. Марк вообще всё запоминает, что отец говорил. У него, по-моему, всё записано.

- А мама знает?

- Мама знает, - сказала Варя. - С февраля. Он ей показал. Она сказала: "Посмотрим". Это у неё значит "нет денег". А Матвей не знает.

- Почему?

Варя посмотрела на меня ещё раз. Тем же взглядом.

- Светлана Викторовна, - сказала она. - Вы его видели. Матвея. Как вы думаете, почему?

Я подумала.

Матвей, который выгнал меня через пять минут. Матвей, который назвал отца "вложением". Матвей, который ставит отметки роста Марка на косяке в мастерской с двух лет, Марк мне показывал.

- Потому что Лондон далеко, - сказала я.

- Потому что Лондон - это навсегда, - сказала Варя. - Если туда уехать в пятнадцать, обратно уже не вернёшься. Вы же не вернулись.

Я молчала.

Варя опустила голову к экрану. Застучала.

- Он не знает, как ему сказать, - сказала она, не поднимая головы. - Матвею. Он мне вчера написал: "Он меня вырастил. Как я ему скажу, что хочу уехать?" Я ответила: "Словами". Он ответил: "Ты не знаешь Матюшу". Я ответила: "Я знаю Олега. Это то же самое, только Олег шутит, а твой рычит". Он прислал смайлик. Злой.

Она помолчала. Застучала быстрее.

- Ему нужно видео до пятнадцатого апреля, - сказала она. - Нормальное. Не на телефон. В зале. С хорошим звуком. Это обязательное условие второго этапа. И рекомендация педагога. И деньги на дорогу. И где жить в Лондоне. У него двадцать три тысячи. Он копит с Нового года. На прослушивание.

- Двадцать три тысячи рублей?

- Рублей.

Билет в Лондон стоит больше. Вдвоём - втрое больше. Жить там неделю...

Я посмотрела на свою тетрадь. На кривые береговые опоры.

Я могу, подумала я. Я могу всё это. Квартира в Лондоне у меня есть, пустая, две спальни. Деньги у меня есть. Папины, по завещанию, и свои, лондонские. Зал для записи я найду. Я могу.

И увидела лицо Матвея. "Ледовские покупают".

- Варя, - сказала я. - Почему ты мне это рассказала?

Варя перестала стучать.

- Потому что вы можете, - сказала она. - А сами вы не предложите. Я же вижу. Вы никому ничего не предлагаете, пока вас не попросят. А он не попросит. Он такой же, как вы.

Она снова застучала. Громко, быстро, как будто ставила точку.

* * *

В воскресенье я вернула валенки.

Я везла их в большом пакете из "Пятёрочки", потому что другого не было. Огромные, серые, с подпалиной на левом заднике. Неделю они стояли у меня в комнате в Абрамцеве, у кровати. Я на них смотрела, когда просыпалась.

Это смешно. Это просто валенки.

Он открыл мне калитку сам. Не в фартуке. В свитере, тёмно-зелёном, с растянутым воротом. Посмотрел на пакет.

- Валенки, - сказала я.

- Вижу.

Он взял пакет. Посмотрел внутрь. Посмотрел на меня.

- Вы их чистили?

- Немного. Щёткой. Они были в лаке. С вашего сарая.

Он помолчал. Что-то случилось у него с углом рта, совсем мало, как будто он хотел что-то сказать и передумал.

- Проходите, - сказал он. - Лена ждёт. Ботинки снимайте в прихожей. Там тапки.

Тапки были новые. В пакете из магазина, ещё с этикеткой, женские, тридцать седьмого размера. Серые, войлочные. Я посмотрела на них. Потом на него. Он уже уходил по двору к сараю.

- Матвей Романович, - сказала я.

Он не обернулся.

- Это Лена купила, - сказал он через плечо. - Не я.

Я надела тапки. Они были впору. Тридцать седьмой. Мой размер. Я не помнила, чтобы кому-нибудь говорила свой размер.

Валенки он видел, подумала я. Как я в них утонула. Он слышит четверть тона. Размер по ноге, наверное, тоже слышит.

* * *

После обеда Марк позвал меня наверх.

- Покажу вам ноты, - сказал он громко. - Папины. В прошлый раз не успел.

Лена посмотрела на него. Потом на меня. Ничего не сказала. Матвей сидел у "Шрёдера" и подтягивал что-то внутри длинным ключом, повернувшись к нам спиной, и не обернулся.

Комната Марка была маленькая, под самой крышей, с косым потолком и окном на улицу. Узкая кровать, стол, на столе ноутбук, старый, с наклейкой. На стене плакат с каким-то пианистом. Полки с нотами. И карта. Большая, на всю стену над кроватью. Карта Лондона. С кружочками, нарисованными фломастером.

Я остановилась.

- Ты знаешь Лондон, - сказала я.

- Я знаю карту Лондона, - сказал Марк. - Это не одно и то же. Это мне папа привёз. В прошлом году. В мае. Последний раз, когда он... Сказал: "Посмотри. Город. Может, когда-нибудь". Я обвёл.

Я подошла к карте. Кружочки были на концертных залах. Уигмор-холл. Барбикан. Королевский фестивальный зал. Альберт-холл. И один, большой, вне города, на северо-западе, на краю карты. Подписанный мелко, аккуратно, по-английски, но русскими печатными буквами, как пишут дети, которые знают, как звучит, но не уверены, как пишется: "ХАРРИНГТОН".

- Варя сказала, - сказал Марк у меня за спиной.

Я обернулась.

Он стоял у двери. Высокий, худой, в Матвеевом свитере с рукавами до пальцев. Смотрел на меня папиными глазами. Не мигая.

- Варя сказала, - согласилась я.

- Я её убью.

- Не убьёшь. Она тебе нужна. Она тебе видео смонтирует.

Он моргнул. Первый раз за весь день, по-моему.

- Вы... - начал он. - Вы не скажете Матюше?

- Это не мне говорить, Марк.

- Я знаю. Я скажу. Сам. Я просто не знаю как. - Он сел на кровать. Под картой. - Он меня вырастил. Понимаете? Мама работала. Она в трёх местах работала, когда я маленький был. А он... Он со мной сидел. В мастерской. Я там под роялем спал, в коробке из-под молоточков. Он меня научил, как настраивать. Он меня научил, как держать спину за инструментом. Он мне на косяке рост отмечает. С двух лет. Сорок девять отметок. А я ему скажу: "Матюша, я уезжаю в Англию"?

Я села рядом с ним на кровать. Не близко. На краешек.

- Ты хочешь поехать? - спросила я.

- Хочу.

- Почему?

Он долго молчал. Смотрел на свои руки. Длинные пальцы, тонкие, с коротко остриженными ногтями. Пианистские.

- Папа говорил, - сказал Марк, - что у него есть сын, который научился сам. Ночью. По маминой тетради. Что его никто не учил, и он научился. Папа говорил это с таким лицом... Я его таким не видел, когда он на меня смотрел. Никогда. Он смотрел на меня, как будто я задача, которую он решает. А когда говорил про Павла... - Марк замолчал. - Я хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь про меня так сказал. Что я сам. Понимаете? Не потому что Ледовский. Не потому что двадцать процентов. Сам.

Я сидела на кровати и смотрела на него.

Я понимала. Я понимала так, что у меня заболело в груди. Я уехала в Лондон в семнадцать лет ровно за этим. Чтобы кто-нибудь когда-нибудь сказал: она сама. Не дочь Ледовского. Сама.

Никто не сказал. Пока.

- Тебе нужно видео, - сказала я. - До пятнадцатого апреля. В зале.

Он поднял голову.

- В музыкалке есть зал, - сказал он. - Но там рояль убитый. "Эстония". Матюша говорит, его только в печку.

- А если в другом зале?

- В каком?

Я подумала. Оля. Оля строила в позапрошлом году концертный зал для частной школы в Сергиевом Посаде, Серёжа рассказывал на похоронах, когда мы стояли у окна и не знали, о чём говорить. Новый зал, деревянный, с хорошей акустикой. Там должен быть рояль. Там должен быть нормальный рояль.

- Я узнаю, - сказала я. - Это не деньги. Это зал. Мне просто позвонить.

Он смотрел на меня.

- А Лондон? - спросил он. - Если пройду. Там жить где-то. И дорога. Вдвоём. С мамой или с Матюшей.

- У меня в Лондоне квартира, - сказала я. - Пустая. Две спальни. Я там всё равно живу одна.

Он смотрел на меня долго.

- Это не деньги, - сказала я. - Это квартира. Она просто стоит.

- Матюша скажет, что это деньги, - сказал Марк.

- Матюша скажет, - согласилась я.

- Матюша уже говорит, - сказал голос от двери.

* * *

Он стоял в проёме. Высокий, в зелёном свитере. С длинным ключом для настройки в руке. Лицо у него было белое.

Я не слышала, как он поднялся. Я ничего не слышала. Марк, судя по лицу, тоже.

- Матюш, - сказал Марк.

- Харрингтон, - сказал Матвей. Медленно. Он смотрел не на Марка. На карту. На большой кружок на краю. - Это что?

- Школа, - сказал Марк. - Музыкальная. Под Лондоном.

- Я умею читать.

- Я подал заявку. В январе. Меня пригласили на прослушивание. Пятнадцатого июня.

- В январе, - повторил Матвей.

- Сам. Я сам подал. Света тут ни при чём. Она ничего не знала. Варя ей вчера сказала.

Матвей перевёл глаза на меня. Тёмные, злые. Нет. Не злые. Под злостью там было что-то другое. Я уже видела это в прошлый раз. Как будто снимают переднюю стенку пианино, и видно струны.

- В январе, - сказал Матвей. - Три месяца. Ты три месяца мне не говорил.

- Я не знал как.

- Словами, - сказал Матвей. - Ртом. Как все.

- Ты бы не пустил!

- Ты меня спросил?!

Это был первый раз, когда я услышала, как он кричит. Голос у него сорвался. Не на четверть тона. На полтона. На тон. Он сам, видимо, услышал. Замолчал.

- Матюш, - сказал Марк. Тихо. - Я не хотел...

- Мама знала? - спросил Матвей.

Марк молчал.

- Лена знала, - сказал Матвей. Не спросил. - С какого?

- С февраля, - сказал Марк.

Матвей закрыл глаза. На секунду. Открыл.

Потом посмотрел на меня.

- А вы, - сказал он. - Вы неделю здесь. Неделю. И уже квартира в Лондоне. Две спальни. Зал. Вы же слышали, как это работает, Ледовская? Вы же из этой семьи. Ваш отец так делал. Пианино за два миллиона. Карта Лондона в подарок. Он покупал. Тихо. Без слов. Сел на табуретку, посидел, купил. И вы...

- Я ничего не покупаю, - сказала я. Встала. - Квартира стоит пустая. Зал - это звонок. Я ничего не...

- Ледовские всегда так говорят, - сказал он. - "Это ничего не стоит". Для вас ничего не стоит. Для нас стоит. Он уедет в пятнадцать лет в Англию, к вам, в вашу квартиру, в ваш Лондон, и больше не вернётся. Как вы не вернулись. Вы же не вернулись? Девять лет?

Я молчала.

Он попал. Точно. В ту самую струну.

- Матвей, - сказала Лена снизу. С лестницы. Она стояла на нижней ступеньке. Видимо, давно. - Спустись.

- Ты знала, - сказал Матвей. Не оборачиваясь. - С февраля.

- Знала. И не сказала. Потому что знала, что ты вот так. Спустись, Матюша.

Он стоял в дверях. Смотрел на Марка, на карту, на меня. Ключ в руке у него побелел, так он его сжал.

Потом повернулся и пошёл вниз. Мимо Лены. Хлопнула дверь во двор.

Марк сидел на кровати и смотрел в пол. Я стояла посреди комнаты. Под картой Лондона, с кружочками, которые обвёл четырнадцатилетний мальчик, мечтая о городе, где я прожила девять лет и где у меня в квартире нет ни одной фотографии.

- Простите, - сказал Марк. - Он не злой.

- Я знаю, - сказала я.

Я опять не знала.

* * *

В дверь позвонили в четыре.

Мы сидели на кухне втроём: Лена, Марк и я. Матвей в сарае. Оттуда не доносилось ни звука. Даже ля. Лена налила чай, и мы пили его молча. Лена сказала только одно: "Он отойдёт. Он всегда отходит. Как дерево после влаги. Долго, но отходит". Я кивнула.

Звонок был длинный. Уверенный. Так звонят люди, которые привыкли, что им открывают.

Лена пошла открывать. Я слышала, как щёлкнул замок. Потом голос. Мужской, мягкий, хорошо поставленный, с той особой бархатной интонацией, которую я знаю с детства. Так говорили люди, которые приходили к папе в кабинет и оставались там часами.

- Елена Романовна? Добрый день. Ремезов. Аркадий Львович. Адвокат. Простите, что без звонка. Я звонил, но у вас, видимо, не берут незнакомые номера. Разумно. Можно войти? Пять минут.

Ремезов, подумала я.

Олег говорил. В среду, на кухне, мимоходом: "Сабуров пустил в ход Ремезова. Это тот, который в позапрошлом году вёл против меня опеку от Вишневского. Шубин сказал. Ремезов - это лиса. Если Ремезов пришёл, значит, будет предложение, от которого стыдно отказаться".

Я встала.

Лена вошла на кухню. За ней вошёл он.

Невысокий, плотный, седой, в отличном сером пальто, которое он не снял, и в отличных туфлях, которые он не снял тоже. С кожаной папкой. Лицо приятное, мягкое, с ямочками, как у доброго дедушки в рекламе молока. Глаза внимательные. Очень.

Он увидел меня. Остановился.

Улыбнулся. Шире.

- Светлана Викторовна, - сказал он. - Какая встреча. Я не ожидал. Ремезов, Аркадий Львович. Мы не знакомы, но я много о вас слышал. От вашего брата Олега Викторовича. В позапрошлом году. В суде. - Он чуть наклонил голову. - Семья уже здесь. Быстро. Ваш брат всегда был быстрым.

Хлопнула дверь во двор.

Я не обернулась. Я знала, кто вошёл. Я услышала шаги. Тяжёлые, ровные. Остановились в дверях кухни, у меня за спиной.

- Это кто? - сказал Матвей.

- Ремезов, - сказал Ремезов, поворачиваясь к нему с той же улыбкой. - Аркадий Львович. Адвокат. Я представляю интересы Игоря Леонидовича Сабурова. Господин Сабуров - бизнесмен, девелопер. У него есть предложение для законного представителя несовершеннолетнего Ланского Марка Викторовича. - Он посмотрел на Лену. - То есть для вас, Елена Романовна.

Марк сидел за столом. Не шевелился. Смотрел на Ремезова. Считал. Я видела, как он считает. Двери. Окна. Людей.

- Какое предложение? - спросила Лена.

Ремезов открыл папку. Достал лист. Один. Положил на стол, рядом с чайником, и придвинул к Лене одним пальцем.

- Господин Сабуров предлагает выкупить долю Марка Викторовича в уставном капитале "Ледовский групп", - сказал он. - Двадцать процентов. Полностью. С согласия органа опеки, разумеется, всё по закону. Сумма указана внизу. Я сразу скажу, чтобы вы не тратили время на подсчёты: она втрое превышает рыночную оценку доли. Втрое. Марк Викторович сможет учиться где угодно. Жить где угодно. Никогда ни в чём не нуждаться. И никогда, - Ремезов улыбнулся мне, - ни от кого не зависеть.

Лена смотрела на лист. Я видела её лицо. Я видела, как она читает цифру внизу. Как у неё чуть дрогнули губы.

Я не видела лица Матвея. Он стоял у меня за спиной. Я чувствовала его спиной, как чувствуют печку. Он молчал.

- Подумайте, - сказал Ремезов. Мягко. - Я не тороплю. Предложение действует до конца апреля. Моя визитка. - Он положил на стол карточку. Потом посмотрел на меня. Снова. Долго. С ямочками. - А вы, Светлана Викторовна, передайте брату привет. И скажите ему, что я восхищён. Сестру прислать. Это тонко. Олег Викторович всегда умел.

Я открыла рот.

- Я не... - начала я.

- Конечно, - сказал Ремезов. - Конечно. Всего доброго.

Он повернулся. Кивнул Лене. Кивнул Марку. Прошёл мимо Матвея в дверях, вежливо, боком, не задев. Я слышала, как он идёт по прихожей. Как щёлкает замок. Как хлопает калитка. Как заводится машина за забором.

На кухне было тихо.

Я медленно обернулась.

Матвей стоял в дверях. Смотрел на меня. Лицо у него было спокойное. Совсем спокойное. Так бывает с инструментами, когда всё, что могло лопнуть, уже лопнуло, и больше не звенит.

- Сестру прислать, - сказал он. Тихо. Повторил за Ремезовым. Ровно. Без вопроса.

- Это неправда, - сказала я.

Он смотрел на меня. Слушал. Я видела, как он слушает. Склонив голову чуть-чуть набок, как над открытым пианино.

Я не знала, сел ли у меня голос. Я не слышу четверть тона. Я никогда не слышала.

Матвей молчал. Долго.

Потом развернулся и вышел.

Хлопнула дверь во двор. Через минуту из сарая донеслось ля. Одно. Не громко. Тихо. Потом снова.

Как вопрос, который задают, не надеясь на ответ.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Матвей

Из журнала мастерской М. Ланского: "26.03.2028. "Беккер", 1898, Хотьково. Вирбели заменены, все. Струны - со среды. Хозяйка звонила, спрашивала когда. Сказал: когда будет готов. Сказала, что я грубый. Сказал, что знаю".

Лена пришла в сарай в девять вечера. С листком.

Я сидел у "Беккера" и не работал. Вирбели я поменял ещё в обед, до Ремезова. Теперь надо было натягивать струны, а струны я натягиваю только с утра, на свежую голову, потому что, если ошибёшься на одну линию, потом три дня будешь искать, где врёт. Я сидел и смотрел на пустую раму. Двести двадцать новых вирбелей торчали из неё, как зубы.

Лена положила листок на верстак. Рядом с банкой клея.

- Посмотри, - сказала она.

- Я видел.

- Ты стоял в дверях. Ты не видел. Посмотри.

Я посмотрел.

Внизу, под длинным абзацем с "уставным капиталом", "долей участия" и "согласием органа опеки и попечительства", стояла цифра. Я посчитал нули. Девять. Перед ними цифры. Я посчитал ещё раз.

Я столько денег не видел никогда. Даже нулей столько подряд не видел. Мой годовой доход - это шесть нулей, и то, если хороший год и консерватория не задерживает. Михеев за всю жизнь не заработал столько, сколько тут было написано за одну подпись Лены.

- Втрое, - сказала Лена. - Он сказал, втрое больше, чем стоит.

- Он сказал.

- Я позвонила Льву Матвеевичу. Шубину. Он подтвердил. Сказал, что рыночная оценка в три раза ниже. Сказал, что предложение настоящее. Сказал ещё, что Сабуров никогда не платит больше, чем нужно, и если платит втрое, значит, ему это нужно втрое больше, чем он показывает.

Я молчал. Смотрел на нули.

- Матвей, - сказала Лена. - Это Марку на всю жизнь. Ему и его детям. И их детям. Он может учиться где угодно. В Харрингтоне. В консерватории. В Вене. Где захочет. Он может никогда не играть по свадьбам за пять тысяч, как я играла в девяносто восьмом, чтобы тебя кормить. Ты понимаешь?

- Понимаю.

- И что ты думаешь?

Я положил листок обратно на верстак. Лицом вниз.

- Продавай, - сказал я.

Лена смотрела на меня.

- Продавай, - повторил я. - Подпиши. Завтра. Пусть Сабуров подавится. И пусть Ледовские сами разбираются со своими Сабуровыми. Это не наша война. Нас в неё втащили. Он втащил, когда переписал на Марка двадцать процентов. Он знал, что так будет. Он всегда всё знал. Он знал, что придут с папкой. Он хотел, чтобы Марк был Ледовским. Чтобы у него были их враги, их деньги, их холдинг, их проклятая фамилия. Я не хочу. Пусть продаёт, и пусть духу их здесь не будет.

- Это не моё решение, - сказала Лена.

- Ты законный представитель.

- Я законный представитель четырнадцатилетнего человека. - Лена села на ящик из-под молоточков. Тяжело. Она устала. Я вижу, когда она устаёт, у неё плечи опускаются на два сан-

тиметра. - Опека его спросит. Обязательно. С десяти лет учитывают мнение ребёнка. Шубин сказал. Если Марк скажет "не хочу", опека не даст разрешения. А если даст, Шубин сказал, он лично оспорит.

- Шубин - их юрист.

- Шубин - юрист Марка, - сказала Лена. - С четырнадцатого марта. Виктор Андреевич так распорядился. Ты не читал завещание.

Я не читал. Я отказался. Я сидел в машине у конторы на Чистых прудах, пока Лена с Марком были внутри. Курил. Я не курю. Я выкурил три сигареты, которые стрельнул у водителя соседней машины.

- Марк скажет "не хочу", - сказал я.

- Ты знаешь?

- Знаю. Он хочет быть Ледовским. Он хочет, чтобы про него сказали "сам", как про Павла. Я слышал. Я стоял на лестнице.

Лена помолчала.

- Ты много где стоишь, - сказала она. - В дверях. На лестнице. И всё слышишь. А сам ничего не говоришь.

Я промолчал. Это было правдой.

- Ты слышал её? - спросила Лена. - Светлану. Когда этот Ремезов сказал "сестру прислать". Она сказала: "Это неправда". Ты слышал?

- Слышал.

- И?

- Голос не сел, - сказал я.

Лена смотрела на меня.

- Тогда почему ты ушёл?

Я смотрел на пустую раму "Беккера". На двести двадцать новых вирбелей.

- Потому что не сел, - сказал я.

Лена долго молчала. Потом встала с ящика. Подошла ко мне. Положила руку мне на голову. Как в детстве, когда я не мог уснуть, и она садилась на край раскладушки в нашей комнате в Посаде, и клала руку, и сидела, пока я не засну. Мне тогда было шесть. Ей двадцать четыре. Мы только что ушли из жёлтого дома.

- Дурак ты, Матюша, - сказала она. Тихо. Не зло. - Ох, какой ты дурак.

И ушла.

Листок остался на верстаке. Лицом вниз.

* * *

Три дня Марк со мной не разговаривал.

Не демонстративно. Он не хлопал дверями, не уходил из комнаты, когда я входил. Он здоровался утром, говорил "спасибо" за ужином, говорил "спокойной ночи". И всё. Больше ничего. Как Ледовский. Как он сидел на табуретке четырнадцать лет.

Я понял это в понедельник за завтраком. Марк ел кашу, смотрел в тарелку и молчал. И я вдруг увидел, что он сидит точно так же. Спина прямая. Руки на столе. Глаза вниз. Он никогда не видел, как сидел его отец в другом доме, за другим столом. Он видел только, как тот сидел здесь, у нас, на табуретке у окна. И сейчас сидел так же.

Мне стало страшно. По-настоящему. Как бывает, когда в старом инструменте вдруг лопается струна, которую ты не трогал, и ты понимаешь, что дека треснула давно, а ты не заметил.

Он играл по шесть часов в день. Шопена. Ноктюрн, двадцатый. И этюд, двенадцатый. И Чайковского, "Времена года", "Октябрь". Это программа к прослушиванию. Я её знаю наизусть, я её слышал сквозь стенку триста раз. Я слышал каждую ошибку. В ноктюрне, в среднем разделе, левая рука не успевает. В "Октябре" он торопится в конце, как будто хочет поскорее отделаться. В этюде, наоборот, хорошо. Злость ему идёт.

Я лежал наверху и слушал, как он играет внизу, и мне хотелось спуститься и сказать: левая рука. Сто шестнадцатый такт. Ты опаздываешь на шестнадцатую. Подними запястье.

Я не спускался.

Во вторник он ушёл после школы и вернулся в восемь. Лена сказала, что он ездил смотреть зал. В какой-то новой частной школе на Северной улице, которую строила жена старшего Ледовского. Там рояль. Там его будут записывать. В субботу, восьмого апреля.

- Кто договорился? - спросил я.

Лена посмотрела на меня.

- Светлана, - сказала она. - Позвонила своей невестке. Это не деньги, Матвей. Зал пустой по субботам. Директор согласился бесплатно. Она просто позвонила.

- Она просто позвонила, - повторил я.

- Да.

- Им всегда просто позвонить.

Лена не ответила. Она развернулась и ушла к себе. Я слышал, как она закрыла дверь. Тихо. Лена всегда закрывает дверь тихо, когда хочет, чтобы я слышал, как она её закрывает.

* * *

В среду, в половине одиннадцатого вечера, у калитки остановилась машина.

Я был в сарае. Натягивал струны на "Беккер". Я натягивал их с утра, весь день, руки уже не чувствовали пальцев. Оставалась сорок одна. Я решил закончить, хотя обещал себе только с утра.

Я услышал машину. Двигатель тихий, дорогой. Потом хлопнула дверца. Две. Потом голоса. Марк. И она.

- ...спасибо, - говорил Марк. - Он хороший. Он лучше, чем "Эстония". Он лучше даже, чем папин "Петроф". У него бас как... как...

- Как пол в соборе, - сказала она.

- Да! Откуда вы знаете?

- Я не знаю. Я так услышала.

Марк засмеялся. Первый раз за три дня я слышал, как он смеётся. Ля первой октавы. Чуть ниже, чем раньше. Голос ломается.

- Иди спать, - сказала она. - Завтра школа.

- А вы?

- А я поеду. Гриша ждёт.

- Скажите ему, - сказал Марк. Тише. - Матюше. Что я... Ну. Спокойной ночи. Скажите. Я сам не могу. Не получается.

Тишина.

- Скажу, - сказала она.

Хлопнула дверь дома. Шаги по двору. Быстрые, неровные. К сараю. Остановились у двери.

Стук. Громко. Как написано.

- Открыто, - сказал я.

* * *

Она вошла. В своём лондонском пальто, в рыжих ботинках, с сумкой через плечо. Без шапки. Короткие волосы растрёпаны. Щёки красные от холода.

Она остановилась у порога. Посмотрела на "Беккер". На струны, которые блестели под лампой, новые, стальные, натянутые рядами. На меня. Я сидел на табурете с ключом в руке.

- Марк дома, - сказала она. - Он просил передать "спокойной ночи". Он сказал, что сам не может. Не получается.

- Я слышал.

- Я знаю. Вы всё слышите. - Она помолчала. - Он попробовал рояль. В той школе. "Стейнвей". Он говорит, что бас как пол в соборе.

- Это вы сказали.

- Это я сказала. Он согласился.

Я молчал. Ключ в руке. Струна передо мной. Сто семьдесят девятая. Ре контроктавы. Толстая, медная, обвитая.

- Можно я посижу? - спросила она.

Я поднял голову.

- Не мешать, - сказала она быстро. - Просто посижу. Пять минут. Мне... - Она остановилась. - Я хочу посмотреть, как вы это делаете.

Голос не сел.

Она хотела. По-настоящему. Не для вежливости.

- Табурет у стены, - сказал я.

Она взяла табурет. Поставила у "Беккера", сбоку, в метре от меня. Села. Сняла пальто, положила на колени. Достала из сумки тетрадь. Толстую, в чёрной обложке, с резинкой. И карандаш.

Я натягивал струну. Медленно. Закрепил на штифте, провёл через аграф, намотал на вирбель три витка, затянул ключом. Ударил по клавише. Низкий звук, гулкий, ещё неровный. Подтянул. Ещё. Ещё.

Она рисовала.

Я слышал, как скрипит карандаш. Быстро, уверенно. Не так, как рисуют люди, которые не умеют. Так, как я натягиваю струну: каждое движение знает, куда идёт.

- Это мост, - сказала она вдруг.

Я не понял.

- Рама, - сказала она. Не поднимая головы. - Чугунная рама. Это мост. Арочный, с жёсткой опорой. А струны - это ванты. Они работают на растяжение. Их тянут с двух концов, со штифта и с вирбеля, и они держат форму. Если отпустить один конец, струна бесполезна. Если перетянуть, лопнет. Это мост, Матвей Романович. Вантовый мост в чугунной раме. Я никогда не думала.

Я смотрел на неё.

Шестнадцать лет. Шестнадцать лет я работаю с этим. Михеев объяснял мне про напряжение, про двадцать тонн, которые держит рама рояля, про сопромат, про то, почему дека выгнута горбом. Никто никогда не говорил мне, что это мост.

Это мост.

- Двадцать тонн, - сказал я.

Она подняла голову.

- Рама рояля держит двадцать тонн, - сказал я. - Натяжение всех струн вместе. У пианино меньше, тонн шестнадцать. Если рама треснет, струны разлетятся. Может убить.

- Как мост, - сказала она. - Если опора треснет.

- Как мост.

Мы смотрели друг на друга. Через "Беккер". Через струны.

Я опустил глаза. Натянул сто восьмидесятую.

* * *

- Меня никто не присылал, - сказала она.

Было без пятнадцати двенадцать. Я натянул ещё двадцать струн. Она всё рисовала. Тетрадь у неё на коленях, страница за страницей. Я не смотрел, что она рисует. Я натягивал струны и слушал карандаш.

- Я знаю, - сказал я.

Карандаш остановился.

- Откуда?

- Голос не сел.

Она молчала. Я ударил по клавише. Ре большой октавы. Ровно. Подтянул на волосок. Ещё раз. Ровно.

- Тогда почему вы ушли? - спросила она. - В воскресенье. Когда он сказал "сестру прислать". Вы же слышали, что я не вру.

Почти теми же словами, что Лена.

Я отложил ключ.

- Потому что я хотел, чтобы вы врали, - сказал я.

Она смотрела на меня.

- Если бы вы врали, - сказал я, - было бы просто. Ледовские пришли за долей. Прислали сестру. Сестра врёт. Всё как всегда. Всё как я знаю. Я бы вас выгнал, Лена бы продала, Сабуров бы подавился, и мы бы жили, как жили. А вы не врёте. И я не знаю, что с этим делать.

Я сказал это и пожалел. Это было больше, чем я хотел сказать. Это было больше, чем я говорил кому-нибудь за последние десять лет.

Она сидела на табурете с тетрадью на коленях. Смотрела на меня. Лицо у неё было открытое. Всё видно. Каждая струна.

- Я тоже не знаю, - сказала она.

Мы помолчали.

- Я хочу, чтобы Лена продала, - сказал я.

- Я знаю.

- Откуда?

- Марк сказал. Он слышал, как вы спорили в сарае. В воскресенье. Он сказал: "Матюша хочет продать, чтобы духу их не было". - Она чуть улыбнулась. - "Их" - это нас.

- Это вас.

- Почему? - спросила она. - Не про нас. Про Марка. Почему вы хотите продать?

Я подумал. Долго. Струна передо мной, двести первая, ещё не натянутая, висела свободно, как волос.

- Чтобы он был свободен, - сказал я. - От вашей фамилии. От вашего холдинга. От Сабуровых. От Ремезовых. От людей с папками, которые приходят в воскресенье в четыре часа и улыбаются. Я не хочу, чтобы к нему кто-нибудь когда-нибудь пришёл с папкой. Пусть у него будут деньги. Много. Пусть учится, где хочет. Пусть играет. Пусть он будет просто пианист. Не Ледовский. Не пятый наследник. Пианист. Сам.

Сам, подумал я. Я сказал "сам". Как Марк. Как про Павла.

Она смотрела на меня. Тёмными глазами. Её глазами. Тёти Таниными.

- А если он не хочет быть свободным от нас? - спросила она.

Я не ответил.

Я не знал, что ответить. Это был единственный вопрос, на который у меня не было ответа. Я его себе не задавал. Я его обходил шестнадцать лет, как фальшивую струну.

- Уже двенадцать, - сказал я. - Вас Гриша ждёт.

Она посмотрела на часы. Вздрогнула.

- Господи, - сказала она. - Он там час сидит.

- Он охранник. Ему платят за то, чтобы он сидел.

Она засмеялась. Ля второй октавы. Встала. Надела пальто. Убрала карандаш. Тетрадь подержала в руках, посмотрела на неё, потом на меня. Вырвала один лист. Аккуратно, по линии. Положила на верстак. Лицом вниз. Рядом с листком Ремезова.

- Спокойной ночи, Матвей Романович, - сказала она.

- Матвей.

Она остановилась.

- Просто Матвей, - сказал я. - Меня "Романович" никто не зовёт. Только налоговая.

Она смотрела на меня. Долго. Потом улыбнулась. Медленно. Как будто ей дали что-то, о чём она не просила.

- Спокойной ночи, Матвей, - сказала она.

- Спокойной ночи, Ледовская.

Она засмеялась ещё раз. В дверях. И ушла.

Я слышал, как она идёт по двору. Как хлопнула калитка. Как завелась машина. Тихо, дорого. Уехала.

Я сидел на табурете.

Потом протянул руку и перевернул её лист.

Это был не "Беккер". Это были руки. Мои. Крупно, на весь лист. Левая держит ключ на вирбеле. Правая лежит на клавише. Порезы от струн. Сбитый ноготь на большом пальце, я его прищемил в понедельник крышкой. Вена на запястье. Всё. Точно. Как фотография. Нет. Лучше, чем фотография. На фотографии не видно, что рука устала. А здесь видно.

Внизу, мелко, карандашом, её почерком, быстрым, наклонным:

"Ванты. Держат двадцать тонн. Никто не видит".

Я сидел и смотрел на свои руки на бумаге.

Потом встал. Взял её лист. Перевернул листок Ремезова, тот, с девятью нулями. Положил её лист сверху.

И натянул оставшиеся двадцать струн. До двух ночи. Ни одной не ошибся.

ГЛАВА 7. МАСТЕРСКАЯ

Света

Из рабочей тетради архитектора С. Ледовской: "Предварительное напряжение: конструкцию нагружают заранее, ещё до того, как на неё кто-то встанет. Чтобы потом выдержала. Снаружи этого не видно. Видно только, что мост стоит".

В субботу, восьмого апреля, в восемь утра, охранник частной школы на Северной улице открыл нам дверь концертного зала и сказал:

- А рояль уже настроен.

Я остановилась на пороге. Марк остановился рядом. Звукорежиссёр Костя, Олин знакомый, с двумя чемоданами микрофонов, чуть не налетел на нас сзади.

- Кем настроен? - спросила я.

- Да пришёл тут один, - сказал охранник. Пожилой, усатый, в форменной куртке. - В шесть утра. Лохматый. В фартуке, прямо из-под куртки торчал. С чемоданчиком. Сказал: от Ланского. Сказал: директор в курсе. Директор не в курсе был, я звонил, разбудил его, он ругался. Но разрешил. Тот два часа тут сидел. Брякал. Одну ноту по сто раз. Я чуть с ума не сошёл. Потом закрыл крышку, сказал "всё" и ушёл. Даже чаю не попил. Я предлагал.

Марк стоял рядом со мной. Не двигался. Смотрел на рояль в глубине зала. Чёрный, огромный, "Стейнвей", с поднятой крышкой, как крыло.

- От Ланского, - повторил Марк.

- Ну да. Так и сказал.

Марк ничего не сказал. Он прошёл через зал, по проходу, между пустыми рядами кресел. Сел за рояль. Положил руки на клавиши. Нажал одну. Ля.

Звук пошёл по залу. Вверх, к деревянному потолку, который Оля делала из сибирской лиственницы и полгода подбирала форму, чтобы звук не застревал по углам. Звук не застрял. Он долетел до задней стены и вернулся. Чистый.

Марк нажал ещё раз. Послушал. Голова чуть набок. Совсем как...

Совсем как он.

- Четыреста сорок, - сказал Марк. Тихо. Сам себе. - Ровно.

Он сидел за роялем, опустив руки. Я стояла в проходе. Костя за моей спиной шёпотом ругался на тяжёлый чемодан.

- Начнём? - спросила я.

Марк кивнул. Не оборачиваясь.

Он играл два часа. Шопена, ноктюрн и этюд. Чайковского, "Октябрь". Каждую вещь по три раза, Костя записывал все дубли. Я сидела в восьмом ряду и слушала. Я ничего не понимаю в музыке. Я не могу отличить ноктюрн от этюда, если мне не сказать. Но я поняла одно. Он играл не как в прошлое воскресенье дома, когда я сидела на диване. Не как на прошлой неделе, когда пробовал этот зал. Он играл по-другому.

В ноктюрне, в середине, есть место, где левая рука идёт вниз, а правая держит мелодию высоко, как будто кто-то зовёт издалека. В прошлый раз там что-то спотыкалось. Я не знала что. Я просто слышала, что спотыкается. Сегодня не спотыкалось. Сегодня левая рука шла вниз ровно, и правая звала, и в зале было так тихо, что Костя перестал ругаться.

Когда он кончил последний дубль, он посидел за роялем. Потом встал. Пошёл не к нам, а за кулисы. Быстро. Не оглядываясь.

Я пошла за ним.

Он стоял за кулисами, в узком коридоре, у стены, на которой висели огнетушитель и расписание уборки. Стоял лицом к стене. Плечи у него тряслись.

Я остановилась в двух шагах.

- Марк, - сказала я.

- Не надо, - сказал он стене. - Пожалуйста. Не смотрите.

Я не смотрела. Я встала рядом. Тоже лицом к стене. К огнетушителю. Мы стояли так, рядом, и смотрели на расписание уборки. Понедельник - Зинаида Петровна. Вторник - Галина Ивановна. Среда - Зинаида Петровна.

- Сто шестнадцатый такт, - сказал Марк. Голос дрожал. - Левая рука. Я всегда там опаздывал. Он мне... он мне раньше говорил. Каждый раз. "Подними запястье". А теперь не говорит. Две недели. Я сегодня поднял.

Я молчала.

- Он настроил, - сказал Марк. - В шесть утра. А мне не сказал. Он со мной две недели не разговаривает, а сам... в шесть утра... - Он вытер лицо рукавом. Своего свитера, нет, Матвеева, с длинными рукавами. - Почему он так, Света? Почему он не может просто сказать?

Я смотрела на огнетушитель.

Потому что он Ланской, подумала я. А ты Ледовский. А это, оказывается, одно и то же.

- Не знаю, - сказала я. - Наверное, по той же причине, по которой ты ему не можешь сказать "спокойной ночи".

* * *

Вечером я поехала в Посад.

Сама. На электричке. Гриша обиделся, Олег сказал "Свет, это уже неприлично", а я сказала, что мне надо подумать, а в машине с Гришей я не думаю, я чувствую себя посылкой.

Калитка была открыта. В сарае горел свет. Я постучала. Громко.

- Открыто.

Он сидел у "Беккера". Струны все натянуты, блестели. Он что-то делал с клавишами, вынимал одну за другой, смотрел, ставил обратно. Не обернулся.

- Как запись? - спросил он.

- Хорошо.

- Сто шестнадцатый такт?

Я засмеялась.

- Вы же не слышали.

- Я спрашиваю.

- Он поднял запястье, - сказала я. - Он сам сказал. Он сказал, что вы ему три недели этого не говорите, а он сегодня поднял.

Матвей ничего не ответил. Вынул клавишу. Посмотрел на неё. Поставил обратно.

- Охранник сказал, что в шесть утра пришёл лохматый, - сказала я. - В фартуке. От Ланского.

- Михеев ездил.

- Михееву восемьдесят лет.

- Он ранняя пташка.

- Охранник сказал "лохматый".

- Михеев лохматый, - сказал Матвей. И наконец обернулся. Посмотрел на меня. Совершенно серьёзно. Глаза тёмные. - У него очень много волос. Для его возраста. Это его гордость.

Я смотрела на него. На его волосы. Тёмные, до воротника, торчащие во все стороны, как будто он спал на них, не расчёсываясь, в шесть утра, в машине у частной школы на Северной улице.

Я засмеялась. Не сдержалась. Он смотрел, как я смеюсь. Лицо у него не изменилось. Только в углу рта что-то случилось, совсем мало, и сразу пропало.

- Он плакал, - сказала я. Перестав смеяться. - Марк. После записи. За кулисами. Лицом к стене. Он не хотел, чтобы я видела.

Матвей замер.

- Почему? - спросил он. Тихо.

- Потому что вы настроили. А ему не сказали.

Матвей смотрел на меня. Потом отвернулся. К "Беккеру". Положил руки на клавиши. Не нажимал.

- Садитесь, - сказал он. Не оборачиваясь. - Табурет у стены. Если хотите.

Я села.

* * *

Так началось.

Я не знаю, как ещё это назвать. Я никого ни о чём не просила. Он ничего не предлагал. Но по вторникам и четвергам Лена работала до восьми, а у Марка в эти дни было сольфеджио в музыкалке до шести. И кто-то должен был его забирать, потому что после того, как Ремезов позвонил в дверь, Лена не хотела, чтобы Марк ходил один. А Матвей в эти дни ездил к Михееву в Москву, на Таганку, и возвращался только к девяти.

Я сказала: я могу.

Это не было просьбой. Это было предложение. Я теперь училась делать предложения. Варя бы мной гордилась.

Лена посмотрела на меня. Долго. Сказала: "Спасибо, Светлана". И всё.

По вторникам и четвергам в шесть я забирала Марка из музыкальной школы. Мы шли пешком через весь Посад, мимо Лавры, мимо прудов, мимо деревянных домов, и он рассказывал мне про Шопена, про Чайковского, про то, что у Рахманинова были огромные руки и он брал аккорд в двенадцать белых клавиш, а Марк пока только в десять. Я рассказывала ему про мосты. Про то, что Тауэрский мост на самом деле не древний, а викторианский, и что его облицевали камнем, чтобы он был похож на древний, а внутри он стальной. Марк сказал: "Как люди". Я спросила, в каком смысле. Он сказал: "Снаружи камень, внутри сталь. Или наоборот". И не стал объяснять.

Дома он садился за "Петроф", а я шла в сарай. Матвей приезжал к девяти. А до девяти в сарае никого не было.

Я сидела одна. В тепле, в запахе лака и канифоли. С тетрадью. И рисовала.

Рисовала инструменты. "Беккер", который уехал в Хотьково в середине апреля, перед этим Матвей сыграл на нём какую-то польку, быстро, весело, одной правой, и сказал "годится". Потом рояль, который лежал на боку на козлах, как кит. Это был "Бехштейн", двадцать шестого года, его привезли из Петербурга, от какой-то старой актрисы, которая умерла и оставила его консерватории. Матвей сказал, что будет его делать полгода. Он стоял на козлах без ножек, без крышки, без клавиатуры, голый, огромный. Чугунная рама золотилась под лампой.

Я рисовала раму. Изгибы. Распорки. Отверстия, через которые видно деку. Это был мост. Я теперь не могла его не видеть.

В девять приезжал Матвей. Входил, снимал куртку, надевал фартук. Смотрел, что я нарисовала. Ничего не говорил. Включал лампу над "Бехштейном". Брал инструменты.

И работал.

А я сидела и рисовала его.

* * *

В четверг, двадцатого апреля, он сказал:

- Подержите.

Я подняла голову от тетради.

Он стоял у "Бехштейна", наклонившись над рамой. В одной руке у него была струна, новая, длинная, стальная, она блестела и чуть качалась. Другой он что-то делал в глубине, у штифта.

- Что? - сказала я.

- Струну. Вот здесь. За конец. Не отпускайте, пока не скажу. Она хлестнёт.

Я встала. Положила тетрадь на табурет. Подошла.

- Вот так, - сказал он. Взял мою руку. Своей. Тёплой, сухой, шершавой от мелких порезов. Положил мои пальцы на струну, у самого вирбеля. Сжал. Сильно. Я почувствовала, как струна врезается в кожу. - Держите. Крепко. Она сейчас натянется.

Он отпустил мою руку. Пошёл на другой конец рамы. Взял ключ.

Я держала струну.

Она была холодная. Тонкая. Стальная. Я чувствовала её пальцами, как чувствуют живое. Он повернул ключ. Струна натянулась. Я почувствовала, как она тянет. Сильно. Неожиданно сильно. Как будто кто-то на другом конце моста тянул канат.

- Держите, - сказал он.

- Держу.

- Ещё немного.

Ключ скрипнул. Струна натянулась ещё. Пальцы у меня заныли. Я сжала сильнее.

- Ещё, - сказал он.

Я держала. Он поворачивал ключ. Медленно. Слушал. Голова набок.

- Всё, - сказал он. - Отпускайте.

Я отпустила. Струна дрогнула и загудела. Тихо, низко, сама собой, от того, что я её отпустила. Как будто вздохнула.

Я посмотрела на свои пальцы. На подушечках были красные полоски. Глубокие. От стали.

Он подошёл. Посмотрел на мои пальцы.

- Больно? - спросил он.

- Нет.

- Врёте. Четверть тона.

Я засмеялась.

Он взял мою руку. Посмотрел на полоски. Близко, наклонив голову, как смотрит на деку. Провёл большим пальцем по красной линии на моём указательном. Медленно. Как будто проверял, не треснула ли.

Я перестала смеяться.

Мы стояли у "Бехштейна". Он держал мою руку. Лампа гудела над нами. В доме Марк играл ноктюрн. Сто шестнадцатый такт. Левая рука. Без опоздания.

- Пройдёт, - сказал Матвей. Тихо. - К утру.

И отпустил.

Я вернулась на табурет. Взяла тетрадь. Пальцы не держали карандаш. Не от боли.

* * *

- Почему вы уехали? - спросил он потом. Уже в одиннадцать. Он натянул пять струн, и каждую я держала. - В Лондон. В семнадцать.

Он спросил, не оборачиваясь. Как спрашивают о погоде. Как я спрашиваю на работе, какая нагрузка на узел.

Я подумала, что не отвечу. Я никому не отвечала. Мистеру Хартли сказала, что хорошее образование. Подругам сказала, что Москва надоела. Оле сказала правду, в девятнадцать, на её кухне, но Оля тогда пропала на пять лет, и я решила, что правду говорить бесполезно.

- Потому что меня там никто не знал, - сказала я.

Он молчал. Натягивал струну.

- Я приехала в сентябре, - сказала я. - Девятнадцатого года. Был дождь. Общежитие колледжа, комната на две кровати, соседка из Гонконга, она плакала по ночам и звонила маме. А мне звонить было некому. Папа прислал деньги. На карту. В первый день месяца. С комментарием. Одно слово.

- Какое?

- "Содержание".

Он остановился.

- Восемь лет, - сказала я. - Девяносто семь переводов. Каждое первое число. Утром, по московскому времени. И одно слово в комментарии. "Содержание". Ни разу ничего другого. Ни "с днём рождения". Ни "как ты". Ни "папа". Я хранила скриншоты. Все девяносто семь. Я не знаю зачем. Однажды пересчитала. На девяностом поняла.

- Что?

Я смотрела на свои руки. На красные полоски от струн.

- Что содержание - это я, - сказала я. - Я - это то, что он содержит. Расход. Статья бюджета. Строчка. Он меня содержал. Он меня не знал.

Тишина.

В доме кончился ноктюрн. Марк начал этюд. Злой, быстрый. Левая рука неслась вниз.

Матвей стоял у "Бехштейна". Спиной ко мне. Я видела, как у него напряглись плечи под фланелевой рубашкой.

- Марку он писал открытки, - сказал он. Не оборачиваясь. - На день рождения. Каждый год. Открытка, конверт, без марки, привозил сам. В открытке одно слово. "Поздравляю". И подпись. "В. Л.". Четырнадцать открыток. Марк их хранит в коробке из-под молоточков. Под кроватью.

Я молчала.

- Он приезжал по последним субботам, - сказал Матвей. - Садился на табуретку у окна. Марк делал уроки. Он смотрел. Знаете, на что он смотрел? Я понял на третий год. Я раньше думал, что на Марка. Нет. Он смотрел на "Шрёдер". Два часа. Каждый раз. Марк сидит за столом, решает задачи, а он смотрит мимо Марка, через комнату, на пианино. На фотографию на крышке.

Я перестала дышать.

На фотографию. Мама на веранде. Смеётся. Младенец в чепчике.

Он смотрел на неё. Четырнадцать лет. По последним субботам. Два часа. Сидел в чужом доме, на табуретке, и смотрел на единственную фотографию, где она смеётся. Потому что дома у него была только та, в синем платье, где она не смеётся.

- Я его ненавидел, - сказал Матвей. - За это. Что он приходит не к Марку. Что Марк для него... повод. Чтобы сидеть и смотреть. Я ненавидел.

Он обернулся. Посмотрел на меня. Тёмными глазами.

- А сейчас не знаю, - сказал он.

Голос не сел.

Я не слышу четверть тона. Но я слышала, что не сел.

* * *

В одиннадцать сорок дверь сарая распахнулась.

Без стука. Марк влетел, как Наташа в калитку. В пижамных штанах и в Матвеевом свитере. С телефоном в руке. Лицо красное.

- Пришло! - крикнул он. - Матюша! Пришло!

Матвей обернулся.

- Что пришло?

- Письмо! Из Харрингтона! - Марк сунул ему телефон. Прямо в лицо. - Видео приняли! Второй этап! Пятнадцатого июня, в десять утра! Они пишут, что запись "исключительного качества" и что "инструмент, очевидно, в превосходном состоянии"! Матюша! Это про твою настройку! Они про твою настройку написали!

Матвей смотрел на экран. Долго.

Марк стоял перед ним. Задыхался. Глаза блестели.

И вдруг обнял его.

Неуклюже, резко, как обнимают подростки, которые давно не обнимались и забыли, как это. Ткнулся лбом ему в плечо. В фланелевую рубашку. В фартук.

Матвей стоял с телефоном в руке. Не двигался. Секунду. Две.

Потом обнял в ответ. Одной рукой. Положил ладонь Марку на затылок. На светлые волосы.

- Сто шестнадцатый такт, - сказал он. Хрипло. - Левая рука. Ты поднял запястье.

Марк замер у него на плече.

- Ты слушал, - сказал Марк.

- Я всё слушаю. Ты знаешь.

- Ты три недели не говорил.

- Не мог, - сказал Матвей. - Ты мне тоже "спокойной ночи" не мог.

Марк засмеялся. Мокро, в плечо.

- Спокойной ночи, Матюша, - сказал он.

- Спокойной ночи.

Я сидела на табурете у стены. С тетрадью на коленях. Я не дышала. Я боялась пошевелиться. Как будто, если я пошевелюсь, кто-то из них вспомнит, что я здесь, и всё это кончится.

Матвей поднял голову. Посмотрел на меня. Поверх светлой макушки Марка.

Ничего не сказал.

Он смотрел на меня, и я поняла, что он видел, как я сижу. С тетрадью. С красными полосками от струн на пальцах. И что ему не надо ничего говорить. Он и так всё слышал.

Я опустила глаза. В тетрадь.

На странице, которую я рисовала весь вечер, был мост. Не манчестерский. Мой. Лёгкий, тонкий, с аркой из стали, изогнутой, как чугунная рама рояля. И с вантами, натянутыми к ней, как струны. Сотни вант. Тонких, блестящих. Держат двадцать тонн. Никто не видит.

Над ним, мелко, я написала карандашом: "Предварительное напряжение".

И зачеркнула.

И написала: "Держит, потому что тянут с двух сторон".

ГЛАВА 8. ПОД ПИАНИНО

Матвей

Из журнала мастерской М. Ланского: "22.04.2028. Дом. Гроза, свет отключили в 19:40. "Шрёдер" при свечах. Влажность скачет, к утру ля уйдёт. Пусть уходит".

Ремезов позвонил Лене в четверг и сказал, что господин Сабуров готов подождать. До конца мая. Сказал это так, как говорят врачи про анализы: время есть, но немного.

Лена сказала ему "спасибо" и положила трубку. Потом позвала Марка на кухню. Я слышал из сарая, потому что окно было открыто, потому что в сарае впервые за весну стало жарко.

- Марк, - сказала Лена. - Ты хочешь, чтобы я продала?

- Нет, - сказал Марк. Сразу. Не думая.

- Почему?

- Потому что это папино.

- Это деньги, Марк. Просто деньги. Доля в компании.

- Это папино, - сказал Марк. - Он мне оставил. Мне. Не тебе. Не Матюше. Мне. Он мне за четырнадцать лет ничего не сказал, кроме "поздравляю". А это оставил. Я не продам.

Лена молчала долго. Я сидел на табурете у "Бехштейна" и не дышал.

- Хорошо, - сказала Лена. - Я подумаю.

- Ты всегда так говоришь.

- Я подумаю, Марк. Это много денег. Это твоя жизнь. Я твоя мать. Я должна подумать.

Марк ушёл. Хлопнула дверь. Через минуту заиграл "Петроф". Этюд. Злой.

Я сидел у "Бехштейна". Смотрел на раму. На чугунные изгибы, золотые под лампой.

Это мост, сказала она тогда. Вантовый мост в чугунной раме.

"Это папино".

* * *

В субботу она приехала в два. Как всегда теперь. С пирогом от Сони в стеклянной форме.

Только Лены не было. У Лены был отчётный концерт в музыкалке, её малыши, шесть-семь лет, с бантами, с "Сурком" Бетховена и "Полькой" Глинки. Лена ушла в одиннадцать, сказала, что будет к девяти, что концерт, потом чаепитие с родителями, потом кто-нибудь обязательно заплачет, потому что кто-нибудь всегда плачет.

Ледовская приехала заниматься с Марком английским.

Это было её предложение. Не просьба. Она теперь делает предложения. Марк сказал ей в четверг, что в Харрингтоне после прослушивания будет собеседование. По-английски. Двадцать минут. С директором и двумя педагогами. Что его английский - это школьный, "Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ", и что он умрёт. Она сказала: "Не умрёшь. Я с тобой позанимаюсь. Суббота". И всё.

Они сидели за столом в большой комнате. Между "Петрофом" и "Шрёдером". И говорили по-английски.

Я сидел на кухне. Чинил табуретку. Ту самую, у окна. У неё шаталась ножка. Она шаталась три года, я не чинил, потому что на ней сидел он. А теперь он не сидит. Я взял табуретку и стал чинить.

Из комнаты доносилось:

- "Уай ду ю уонт ту стади эт Харрингтон?"

- "Бикоз... бикоз ай..." Света, я не знаю, как сказать "потому что хочу, чтобы про меня сказали "сам"".

- Скажи как есть. Медленно. Они поймут.

- "Бикоз ай уонт пипл ту сэй... зэт ай дид ит... майселф".

- Хорошо. Очень хорошо. "Бай майселф". Ещё раз.

Я не знаю английского. Совсем. В школе у меня был немецкий, и тот я забыл к девятому классу. Михеев говорит, что настройщику язык не нужен, у настройщика один язык, ля - четыреста сорок. Я слушал, как они говорят, и не понимал ни слова. Только интонацию.

Интонация у неё была другая. Не как по-русски. По-русски она говорит быстро, громко, как будто бежит. По-английски медленнее. Ниже. Мягче. Как будто там она другой человек. Тише.

Там она была одна, подумал я. Восемь лет. Там не с кем было громко.

Я забил клинышек в ножку табуретки. Попробовал. Не шатается.

* * *

Гроза началась в половине восьмого.

Без предупреждения. В апреле грозы под Москвой бывают раз в пять лет, и всегда вот так: было солнце, потом за пять минут небо стало чёрным, как крышка "Петрофа", и ударило. Прямо над домом. Так, что зазвенели стёкла, и "Шрёдер" отозвался сам, всеми струнами сразу, тихим гулом, как будто испугался.

Потом пошёл град. Крупный, с горошину. Застучал по крыше, по подоконникам, по железной крыше сарая так, что я подумал, что пробьёт.

В семь сорок погас свет.

Весь. Сразу. На всей улице. Я посмотрел в окно: соседние дома стояли тёмные, только у Петровых через дорогу мелькал фонарик.

В большой комнате было тихо. Потом Марк сказал:

- Ну вот.

- Свечи есть? - спросила она.

- Есть. На "Шрёдере". В подсвечниках. Только их никто никогда не зажигал.

- Почему?

- Не знаю. Мама говорит, что это не для того. Что это память.

Я встал с табуретки. Пошёл в комнату.

Там было почти темно. Только окна светились серым, от грозы, и иногда вспыхивали белым, когда била молния. Марк стоял у "Шрёдера". Она сидела за столом. Я видел её силуэт. Короткие волосы. Плечи.

На "Шрёдере" в бронзовых подсвечниках стояли две свечи. Белые, витые, старые. Лена их поставила в две тысячи втором, когда мы перевезли пианино из жёлтого дома. Это были те свечи, которые стояли в подсвечниках там. Тётя Таня их иногда зажигала. Вечером. Когда играла.

Двадцать шесть лет их никто не зажигал.

Я достал из кармана зажигалку. У меня всегда с собой зажигалка, в мастерской часто нужна, чтобы прогреть клей или опалить нитку.

Чиркнул.

Зажёг левую. Потом правую.

Пламя дрогнуло. Выпрямилось. Две маленькие жёлтые точки. На крышке "Шрёдера" ожила фотография: веранда, кресло, смех. Свет упал на клавиши. На золотые буквы "Шрёдер. С.-Петербург".

Марк смотрел на меня.

- Матюш, - сказал он. Тихо. - Мама же говорила...

- Мама на концерте, - сказал я.

Я сел за "Шрёдер".

* * *

Я не пианист.

Я это говорю всем, кто спрашивает. Я настройщик. Я могу сыграть гамму, могу аккорд, могу проверить каждую клавишу на ровность звука. Могу сыграть польку одной правой, как

на "Беккере". Больше ничего. Я никогда не учился. Меня никто не учил. Лена хотела, когда мне было восемь, я отказался. Сказал, что не хочу. Это была неправда. Я хотел. Но не у Лены.

У другой.

Я положил руки на клавиши. В темноте. При двух свечах. И сыграл одну вещь. Единственную, которую я умею целиком. Двумя руками. Медленно. С ошибками в левой.

Колыбельную.

Ту, из мультфильма. Про медвежонка, про льдину, про звёзды. Её все знают. Её поют всем детям в этой стране уже шестьдесят лет. Я её играл медленно, тихо, почти без педали, потому что педаль у "Шрёдера" скрипит.

Меня научили этому, когда мне было пять. За этим самым пианино. В жёлтом доме. Она посадила меня к себе на колени, взяла мои руки своими, положила на клавиши. Правую сюда. Левую сюда. И играла моими пальцами. Медленно. Пока я не запомнил. Она сказала: "Это тебе, Матюша. Когда-нибудь сыграешь кому-нибудь, кто не спит".

Я доиграл. Остановился. Последний звук повис в темноте и растаял. Град стучал по крыше. Тише.

Тишина.

- Что это? - спросила она.

Я обернулся.

Она сидела за столом. В свете двух свечей я видел её лицо. Совсем близко, в двух метрах. Глаза тёмные, огромные.

- Колыбельная, - сказал Марк. - Ну, из "Умки". Про медведицу. Её все знают.

- Я не знаю, - сказала она.

Марк засмеялся.

- Как не знаете? Её все знают. Её всем поют. Маленьким. Мне мама пела. Матюше...

Он осёкся. Посмотрел на меня.

- Мне никто не пел, - сказала она.

Спокойно. Без обиды. Как о погоде.

- Как никто? - сказал Марк. - А мама? Ваша?

- Мне было восемь месяцев.

Марк замолчал.

Я сидел за "Шрёдером". Руки на коленях. Свечи горели.

Она пела, подумал я. Тебе. На веранде. Именно эту. Я помню. Я сидел на ступеньке, а ты лежала в коляске, а она сидела в кресле и пела тебе эту, и качала коляску ногой. И магнитофон стоял на столике. Она нажала "запись". Она сказала: "Это для Светки. Когда подрастёт, послушает". И пела.

Это есть. На кассете. В жестяной коробке. За банками с клеем.

Скажи ей, сказала Лена в моей голове.

Я открыл рот.

- Марк, - сказал я. - Принеси ещё свечей. В кладовке, на верхней полке. Коробка. Там их много.

Марк посмотрел на меня. Он понял. Я видел, как он понял. Ему четырнадцать, и он всё понимает лучше, чем мы с Леной думаем.

- В кладовке темно, - сказал он.

- Возьми телефон. Посвети.

- Ладно, - сказал Марк. И ушёл. Медленно. Я слышал, как он идёт по коридору, как открывает кладовку, как начинает очень громко и очень долго греметь банками.

* * *

Мы остались вдвоём.

Она за столом. Я за "Шрёдером". Две свечи между нами. Град за окном перестал, пошёл просто дождь, ровный, шуршащий.

- Вы умеете играть, - сказала она.

- Одну вещь.

- Кто научил?

Я помолчал.

- Одна женщина, - сказал я.

- Какая?

- Хорошая.

Она смотрела на меня. Я видел, что она хочет спросить ещё. И не спрашивает. Она никогда не спрашивает дважды.

- Почему вы стали настройщиком? - спросила она вместо этого. - Тогда, в мастерской, вы сказали "потом". Сейчас потом?

Я посмотрел на "Шрёдер". На клавиши, жёлтые от времени, слоновая кость, кое-где с трещинками. На фотографию на крышке.

- Я лежал под пианино, - сказал я.

Она ждала.

- Мне было три. Четыре. Пять, - сказал я. - Была одна женщина, которая играла. Каждый вечер. А я забирался под пианино. Ложился на пол, на спину, головой к педалям. И слушал. Не музыку. Музыку я тогда не понимал. Я слушал, как гудит дерево. Когда она играла, всё пианино гудело. Дека, корпус, ножки, пол подо мной. Как будто внутри что-то живое. Огромное. Я лежал и чувствовал спиной, как оно дышит. Мне было не страшно. Мне никогда в жизни не было так не страшно, как тогда, под пианино.

Я замолчал. Я не знаю, зачем я это говорил. Я никогда этого никому не говорил. Даже Лене. Лена знала, потому что видела. Но я не говорил.

- А потом она перестала играть, - сказал я. - И я стал искать, где ещё гудит. Так. В шестнадцать нашёл Михеева. Он делал рояль для консерватории, старый, "Бёзендорфер". Я пришёл к нему в мастерскую с улицы. Залез под рояль. Лёг. Он спросил, что я делаю. Я сказал: слушаю, как гудит. Он посмотрел на меня и сказал: "Вставай. Учись". Вот.

Она сидела за столом и смотрела на меня. Свечи горели у неё в глазах. Две жёлтые точки.

- Почему она перестала играть? - спросила она.

Тихо.

Вот. Второй раз. Она спросила второй раз.

Я посмотрел на неё. На её лицо. На её глаза. На её. На тёти Танины.

Она умерла, подумал я. На веранде. Ты была там. Я качал тебя. А потом побежал. Босиком. По шишкам. До соседей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.